

# ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

БИНГО, ИЛИ ЧЕМУ  
БЫТЬ – ТОГО НЕ  
МИНОВАТЬ (СБОРНИК)

# **Георгий Викторович Баженов Бинго, или Чему быть – того не миновать (сборник)**

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=42191602](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42191602)*

*Бинго, или Чему быть – того не миновать. Исповеди. / Баженов Г. В.:*

*Книга по Требованию; Москва; 2017*

*ISBN 978-5-7117-0509-3*

## **Аннотация**

Верите ли вы, что вы вечны? Конечно, нет. (Конечно, да!) Верите ли, что будете жить после смерти? Конечно, нет. (Разумеется, да!) Верите ли в бессмертие души? Ну, нет! (Ой, все верят!)

Вот о чем думают, чем мучаются герои нового романа Георгия Баженова «Бинго».

В книгу входят также повести «Ярославские страдания», «Однажды и навсегда», «В “Белых ночах”, средь белого дня».

Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

# Содержание

Бинго	4
Часть первая	4
Часть вторая	54
Часть третья	96
Конец ознакомительного фрагмента.	123

# Георгий Баженов

## Бинго, или Чему быть – того не миновать. Исповеди

*Дочери  
Майе Селиверстовой (Баженовой)  
посвящаю*

### Бинго

### Роман

*«...ужас ближе к тайне бытия, чем тоска, ужас  
духовнее, тоска же душевнее».*  
**Н. А. Бердяев**

### Часть первая

### Кто – некто – никто

Антон Иванович, внешне похожий на Георгия Баженова, автора этого романа, нажал на кнопку звонка.

Вошел заместитель Антона Ивановича Максим Владимирович.

- Слушай-ка, Максим, нельзя ли сделать так, чтобы... назывались мы не Департаментом... а, скажем, Академией?
- Надо посоветоваться с Еленой Михайловной.
- При чем тут Елена Михайловна?
- Ей же подписывать финансовые документы. Она главбух.
- Ладно тебе – главбух!
- Да можно, можно, конечно, Антон Иванович. Сейчас, сами знаете...
- Вот и договорились.

Через неделю на столе Антона Ивановича лежала папка с документами, из которых следовало, что отныне их Департамент преобразовывается в «Академию рецензирования». Приказом № 1 Антон Иванович назначил себя президентом Академии, Максима – вице-президентом, а Елену Михайловну – финансовым и исполнительным директором.

Кстати, штатных работников в Академии как раз три человека.

Странная штука – жизнь. Когда-то Антон Иванович заведовал крохотным отделом писем в небольшом столичном журнале. Потом была работа в другом журнале, третьем, в издательстве, в Доме печати, в газетном консорциуме, отделы назывались по-разному: отдел регистрации откликов, отдел по работе с общественностью, отдел стандартизации отзывов и бог его знает еще как...

В конце концов Антон Иванович открыл свое дело. Как

только ни назывались его фирмы, последняя, например, так: «Департамент немедленного рецензирования». Заказы лились рекой. Многим предпринимателям, фирмам или компаниям хотелось иметь солидное заключение, набранное на гербовой бумаге, где бы черным по белому значилась наивысшая похвала от Департамента Антона Ивановича.

Антон Иванович помогал фирмам делать имидж, не только помогал, но и делал это вполне успешно. В таком случае отчего бы Департаменту не превратиться в Академию?

Так на свет появилась «Академия рецензирования», президентом которой, естественно, стал Антон Иванович Гудбай.

Антон Иванович любил работать дома, в собственной квартире. У него был большой кабинет, весь заставленный книгами; книги он не только читал и перечитывал, но обожал их, трогал, перекладывал, переставлял с места на место, одним словом – любил их беззаветно.

Надо сказать, что часто, когда он садился читать или писать, какая-то странная волна мечтаний-фантазий как бы подхватывала его на свое крыло и уносила в немыслимые дали...

В тот, первый свой день президентства, он захватил с собой папку, которую передал ему Максим Владимирович, и уехал домой. Дома он устроился в кабинете за большим письменным столом и начал потихоньку набрасывать тезисы авторецензии, то есть решил обстоятельно проанализиро-

вать, как, каким образом и благодаря чему их Департамент смог подняться до высоты Академии рецензирования.

И вот только начал он испытывать творческий подъем, когда слова как бы сами собой полились из-под пера (а писал он всегда по-старинке, только ручкой), тут-то и подала голос собака наверху, из квартиры этажом выше. Всякий раз Антон Иванович забывал про нее, и всякий раз это было для него сюрпризной неожиданностью. Некоторые (даже многие) не любят собачьего лая, а когда собаки воют, тут людям бывает совсем невмоготу, но Антон Иванович научил себя абсолютно новому восприятию собачьего искусства.

Доберман наверху, по кличке Бинго, очень часто оставался в квартире один, но как раз одиночества не переносил совершенно. Стремительный, с резкими движениями, нервно-горячий, с огоньковой безуминкой в охро-золотистых глазах, он производил впечатление обожаемого, любимого дитя-первенца, неожиданно брошенного родителями на произвол судьбы.

Что делает дитя, брошенное на произвол судьбы? Конечно, плачет, кричит, заливается горячими слезами...

Но, с другой стороны, когда поет птица, мы совсем не знаем, горюет она или радуется; нам, конечно, кажется, что она радуется, а она просто подает голос, а что в этом голосе – радость или отчаяние, мы не знаем; просто нам нравятся звуки, которые издают птицы, и поэтому мы считаем, что они поют, что это их песни, а может – это их слезы? их зов к нам?

их бездонное одиночество, вызывающее к общению с ними?

«Ах, если бы собаки могли петь! — подумал как-то Антон Иванович. — Разве бы они раздражали нас своим воем и гавканьем?» И вот Антон Иванович научил себя этому искусству: воспринимать лай, вой и гавканье собак как некое сладостное пение птиц, ибо все дело в том, как мы настроены слышать и слушать окружающий нас мир.

Бедный и сказочный Бинго завыл... Он выл наверху, один в четырехкомнатной квартире, как красногрудый чечень в клетке или как цветисто-разнопёрый щегол в садке, выл сладострастно и упоённо; он выл о своем одиночестве и тоске, о своей брошенности и конченности мира, он выл, но выл как пел, и Антон Иванович испытывал настоящее наслаждение, близкое к упоению, ибо научил себя воспринимать горечь и отчаяние, одиночество и страх как самую глубокую, щемяще-искреннюю песню, которая невольно рвется из груди любого живого существа.

Сегодня Бинго выл, а это значит, что дома он был один... и песня его была жуткая, пронзительная и жалостливая, безмерная в своей отрешенности и силе.

Ведь, когда, например, в квартире наверху оставался еще юноша Митя, студент-первокурсник социально-астрономического колледжа (в Москве случаются такие заведения), то Бинго, по надоедливости своей, запирался Митей в одной из комнат, и тогда вой сменялся лаем, методично-густым, настырно-напористым и агрессивно-блистательным. Митя, ве-



роятно, не обращал на лай никакого внимания, пусть лает, лишь бы не мешал в обычных житейских делах (то девочки, то музыка, то курсовые, а то еще что-то), зато наслаждался лаем собаки Антон Иванович.

Лай – это не песня чеченя или щегла; это скорей одиноко-звучные посвистыванья снегиря, резкие подсвиркиванья синицы или, наконец, дробные призывы кукушки: в лае своя сказочно-прерывистая, густая, глубинная и утробная музыка. Именно эту музыку научился слушать Антон Иванович. Он как бы с каждым новым гавканьем поднимался все выше и выше на облаках воспарённости, поднимался упругими, дерзкими толчками, всё дальше ввысь, в бездонные верха, так что когда, например, лай обрывисто прекращался, Антон Иванович словно кубарем катился вниз, из глубин поднебесья в житейскую трясику.

А ведь кроме воя и лая Бинго владел многими другими песнями, например, потягиванием, повизгиванием (когда в дом возвращались хозяева) или скулением (просишь-просишь, а тебя не слышат), или иными песнями, которые будто и не песни уже, а так... подпевки или речитативные припевы.

Но вот в тот день, когда Антон Иванович стал президентом Академии, когда приехал домой, устроился в кабинете и начал горделиво анализировать на бумаге, каким образом он достиг вершин карьеры, в тот день Бинго именно завыл, а не загавкал; завыл, как всегда, пронзительно и страстно, но и как-то по-особому тревожно, горестно и призывно. Это

был не вой, это был надрывный плач, и как всякий высокий и глубокий плач, он являлся сердечной, горестной, морозящей кожу песней, так что Антон Иванович отложил перо и надолго погрузился в глубины и высоты упоённого собачьего песенного гореванья.

И что странно, только сегодня, став президентом Академии (может, это было чистое совпадение), Антон Иванович расслышал в песне Бинго что-то новое, неожиданное и потустороннее. Что-то такое, что мешало Антону Ивановиче вполне насладиться собачьим пением, его сложным и особым искусством.

Как бы наконец-то разом, в секунду, Антон Иванович почувствовал, что чужая песня, хоть горькая, хоть сладкая, это только для слушающих радость, а для поющего – это целый надрывный мир: ты воешь, и песней твоей наслаждаются, но у тебя-то сердце разрывается на части, оно разбухает от крови, сосуды напряженно и гулко пульсируют, густая кровь разжижается и бьет волна за волной в сердце так, что оно раздувается как огненный кровавой шар, который готов лопнуть... готов, но не лопается, а только полнится и полнится болью, и от боли этой нет спасения, потому что сердце не разрывается – оно слишком еще молодое и сильное.

Антон Иванович поневоле ощутил призыв к какому-то неясному, но решительному действию. Он ведь давно знал и понял, как рос маленький Бинго, милый забавный и проказливый щенок, как все любили его, жалели и ласкали, и, пока

он был маленький, его никогда не оставляли в одиночестве, и даже спал он всегда вместе с хозяевами на широкой теплой постели, с краешку, в уголочке, уткнувшись носом в легкое ватное одеяло. Мир для него — это когда постоянно рядом живые добрые сказочные существа: хозяин, хозяйка и их сын Митя, и, когда Бинго подрос, с ним случилась первая грозная беда: его на час или на два оставили в квартире одного. Мир закатился для него в преисподнюю, разразилась катастрофа, он не мог понять, что случилось, где он, что происходит, куда деть себя в одиночестве, и он выл, лаял, гавкал, бросался на дверь, кричал, стenal, плакал, слезы мелкими горошинами катились из его глаз... Катастрофа эта стала повторяться все чаще, все на большие и большие промежутки времени, но Бинго, почти как всякий доберман, не мог привыкнуть к этому, катастрофа не становилась закономерной частью его жизни, она оставалась просто катастрофой, бездной, небытием, крушением, черной дырой. И всякий раз Бинго бесновался, как будто наступил конец света, он и выл, и лаял, и гавкал, и рычал, и скулил, и визжал, и тявкал, но больше всего выл и выл... не переставая... не переставая...

В большом (в двадцать два этажа) доме кто-то любил Бинго, кто-то его ненавидел за беспокойный характер и бесконечное гавканье и вытье, и только Антон Иванович, ближайший снизу сосед, научился слышать в тоске и безумии Бинго глубокую и искреннюю песню. Пусть выл, но как выл! Пусть гавкал, но как гавкал! Так глубоко и страстно могут

петь только птицы: щеглы и чечётки, канарейки и свиристели, снегири и чижи.

Но в этот раз... но в этот раз, когда Антон Иванович стал президентом Академии и приехал домой всласть поработать над авторской рецензией, он разобрал в песне Бинго что-то новое, иное, совсем другое, что слышал всегда: Бинго был не как пел, а пел как просил (и умолял) о пощаде: не могу больше жить! не хочу больше жить! помогите избавиться от страданий, от жизни, от тоски и безумия!

Антон Иванович (заглянем ему в сердце) считал себя единственным человеком на свете, кто правильно понимал Бинго, и, поняв Бинго и на этот раз, хотя и не разделяя его взгляда на жизнь (петь нужно до конца и не просить ни у кого и ни у чего пощады!), Антон Иванович оторвался от рукописи и спросил себя прямо и вполне серьезно: «Что делать?»

«Как что делать?!» – таков был тут же ответ его.

Антон Иванович выбрался из-за стола и, будто находясь в сомнамбулическом состоянии, вышел из квартиры и поднялся по лестнице на один этаж выше. У него был ключ от квартиры соседей, так, совершенно случайно, хотя прихватил он его когда-то осознанно, но как во сне. Бинго от радости чуть не сшиб Антона Ивановича с ног, когда тот открыл дверь, стал прыгать вокруг него, ласкаться, лизать руки, вертеться вокруг него юлой (ведь они были уже неплохо знакомы). Антон Иванович подхватил Бинго на руки, приласкал его и, подойдя к окну, открыл раму, а затем резким, нежиз-

данным для Бинго движением выбросил собаку из окна. Лети, Бинго! Отныне ты свободен!

С этого дня, как Антон Иванович стал президентом Академии рецензирования, он больше не мог слушать пение птицы под названием «собака Бинго». Он выпустил «птицу» на волю и спас её от разрыва сердца.

Вернувшись на работу с недописанной рецензией, Антон Иванович увидел на своем столе записку от Максима Владимировича: *«Вас ищет друг детства Капитонов. Телефон секретарши: 906-06-06. Просят позвонить. Я уехал в издательство. Максим».*

– Капитонов... Капитонов, – пробормотал Антон Иванович. – Ах, да, Капитонов... Витя... Виталий...

Близкими друзьями детства они не были, учились, правда, в одном классе, даже жили на одной улице на Урале, в далекой глубинке, в небольшом поселке Северный, зато было другое: оба любили одну и ту же девочку по имени Эля, Эльвира Хмельницкая... Но все это как в тумане, конечно, и детство, и школа, и девочка Эля, и даже поселок Северный. А впрочем...

Антон Иванович давно привык, что его часто ищут и находят самые неожиданные люди, в нынешней жизни он нужен многим, но друзья детства... того детства, когда им было по семь, десять или двенадцать лет... нет, такого еще не было... из такого далека никто его не разыскивал.

Антон Иванович набрал нужный номер, и приятный женский голос запел-заворковал на другом конце провода:

– Антон Иванович? Немедленно соединяю вас с Виталием Константиновичем, немедленно!

И не успел еще Антон Иванович вполне насладиться женской вкрадчивой и многообещающей ласковостью, как в трубке загудел другой голос, густой, но радостно-напористый, бодрый, а главное удивительно молодой и свежий:

– Тоша?! (Да, так его звали в детстве...) Где ты запропастился? Ты не поверишь, я тебя целый год ищу... ведь у меня юбилей. Так стукнуло, что о годах и вспоминать не хочется! Короче: юбилей позади, опоздал ты, Тоша, со своими поздравлениями, но! Но в баньку мы с тобой сегодня сходим! В парилочку! Я, знаешь, не люблю всяких там богатых саун и загородных дворцов, я по-простому, как у нас в детстве, в Северном, помнишь?! Так вот, встречаемся сегодня, в пятнадцать ноль-ноль, в Разумовских банях, это недалеко от тебя, знаешь?!

– Да, но...

– А теперь, Тоша, самое главное: не говори, что не можешь! И слышать не хочу!

– Да, но... («Как хоть мы узнаем друг друга?») – хотелось в конце концов спросить Антону Ивановичу.)

– Я же говорю: никаких но! Всё! До встречи! – И Виталий Капитонов положил трубку.

Когда они только переехали в новую квартиру, они никак не ожидали, что впереди будет столько сюрпризов. Главных сюрпризов было три: лай и вой собаки; стук по утрам женских каблучков с железными, цокающими по паркету набойками; и третье – методичное, как бы потустороннее, но тем не менее реальное стучание какой-то деревяшки по другой деревяшке примерно с полуночи и, бывало, до раннего утра. Надо же случиться такому совпадению: когда они переезжали, соседи сверху – вероятней всего – были на даче, стояло теплое лето, и они так радовались, что в эти летние дни успеют сделать капитальный ремонт в квартире, а затем с осени, как раз с сентября, смогут начать размеренную спокойную жизнь.

И вдруг началось...

Поначалу казалось: происходит что-то нереальное, такого не может быть, ведь должны же люди (соседи наверху) понимать, что причиняют другим неудобства, мешают жить, нарушают чужой мир, спокойствие и тишину.

Пытались стучать им по трубе: эй, мол, там, наверху, потише! Никакой реакции.

Пожаловались старшей по подъезду (Ангелине Петровне).

– Да что вы говорите?! – Глаза Ангелины Петровны округлились до размеров малых блюдецек, из которых она любила пить чай (Антон Иванович об этом узнал чуть позже). – Да, да, да, у них есть собачка, такая милая, шикарная собачка,

да что вы говорите, надо же, лаает, воет, я никогда не слышала, вообще-то они люди достойные, серьезные, мы их давно знаем, сын Митенька учится вместе с моим внуком в социально-астрономическом колледже («Что бы это такое могло быть?!»), жена работает в серьезном учреждении, а сам хозяин прокурор или что-то в этом роде, раньше служил, был полковником, а теперь в суде, кажется, обвинителем или что-то такое, а каблуки... ну что каблуки... все мы женщины, утром на работу спешим, тут уж мы должны понимать друг друга, пойти на уступки, а вот что стучат деревяшками по ночам — не может быть, потому что есть у нас одна старенькая пара, на одиннадцатом этаже, немножко со странностями старики, как бы чуть свихнувшиеся от нынешней жизни, так вот они точно стучат по ночам, все им кажется, что кто-то крадется к ним, пытается ограбить, вот они и стучат, предупреждают: мы на чеку, мы дома, а что ваши соседи стучат, этого не может быть, это просто кажется, резонанс такой, потому что соседи над вами живут положительные, собачка у них милая, добрая, ну что ж, что воет или гавкает, животное же, все мы не без греха, что делать... там и напротив ваших соседей одна пара живет, тоже с собачкой, хорошо отзываются друг о друге, вы уж, Антон Иванович, Марина Михайловна, потерпите немного, войдите в положение, не ссорьтесь и не ругайтесь, а я со своей стороны обещаю: поговорю с ними, поговорю, обязательно поговорю...

Но ничего не изменилось и после этого разговора.



Несколько раз Марина Михайловна, жена Антона Ивановича, звонила соседям по телефону (номер их она узнала у консьержки внизу). Про собаку ответ был таков (в виде вопроса):

– Вы не любите животных?

– Люблю.

– Ну так вот, если вы любите животных, вы должны знать, что собака тоже животное, и у нее есть свои особенности, она охраняет дом, лает, гавкает или воет, и я ничего не могу поделать с ней. Не убивать же ее ради вас? Да и не для того мы ее заводили. Всего доброго!

А про каблук и громкое цоканье по паркету разговор еще короче:

– Ну уж в чем ходить по дому, в сабо или хоть в колодках, это мое личное дело, и по этому вопросу я советоваться ни с кем не собираюсь!

А про то, что в квартире у них по ночам стучат какими-то деревяшками, совсем коротко:

– Бред какой-то! – И швыряли трубку.

Марина Михайловна потихоньку сходила с ума. Можно многое вытерпеть в жизни: и лай собак, и грохотанье каблук, и ночные колотушки над головой, но как понять другое: почему одни люди не считаются с другими?! И уж совсем растеряла она всякое понимание, когда на ее очередной звонок по телефону ответил не женский голос, а мужской, который с ходу заорал в трубку:

– Слушай, ты, если ты еще раз позвонишь, я тебя!.. Ты кто такая? Какого хрена звонишь? Чего тебе надо? Попробуй только еще раз позвонить! Я тебя в порошок сотру! Поняла?!

На этот раз трубку швырнула сама Марина Михайловна.

Через несколько минут раздался звонок в дверь. Антон Иванович, ничего не подозревая, смело щелкнул замком, и тут в квартиру ворвался огромный ошетилившийся разъяренный зверь (так показалось). На самом деле влетел низкорослый крепкий мужик с выпученными глазами и коротко стриженной головой. Проскочив Антона Ивановича (как мимо пустого места), мужик подлетел к Марине Михайловне (которая все еще в оторопи стояла рядом с телефонным аппаратом) и начал орать, как будто не закончив оборвавшийся разговор:

– Ты поняла, что я тебе сказал?! Я тебя спрашиваю: поняла или нет? Кто вообще дал тебе наш телефон? Попробуй только позвонить еще раз! Да я тебя... Я тебя уничтожу!

– Простите, вас как зовут? – раздался спокойный голос Антона Ивановича.

Мужик как бы крутанулся на месте, округлённо вытаращив глаза, и в недоумении уставился на Антона Ивановича: это еще кто такой?!

– Я спрашиваю: как ваше имя-отчество?

– А тебе какое дело? Ты кто? Учитель? В очёчках ходишь?! Смотри, учителяшко, я и тебя раздавлю – не пикнешь!

– Нет, я не учитель. А все-таки как вас зовут?

– Ну, Тимур Таранович (на самом деле Терентьевич; но так слышалось).

– Так вот, Тимур Таранович...

– Не Таранович, а Терентьевич!

– Извините, ослышался... Так вот, Тимур Терентьевич, прошу вас выйти из моей квартиры. Когда входят в дом, прежде всего здороваются.

– Чего-чего?!

– Вы не поздоровались, Тимур Терентьевич. Прошу вас выйти из моего дома. – И Антон Иванович легонько так, попростецкому, взял Тимура Терентьевича под локоток и повел к выходу.

– Точно – учитель! – оторопело произнес сосед, но, самое главное, послушно последовал к двери.

– Всего доброго, до свидания!

Но прежде чем Антон Иванович захлопнул перед соседом дверь, тот все-таки успел погрозить ему пальцем:

– Смотри у меня!

В издательстве Максим Владимирович подписал корректуру трехтомника (подарочное издание избранных рецензий Академии) и поехал в Одинцово, немного отдохнуть и отвлечься от московской мышшиной беготни. В паре с Антоном Ивановичем он работал лет пять, с делом справлялся легко, играючи, был исполнителен и аккуратен, единственное – не

мог до конца проникнуться серьезностью их «академического» занятия: ну, рецензии, ну, отзывы... что такого-то? Антон Иванович бесстрастно поучал: рецензия – это квинтэссенция нынешней жизни, это тончайший пилотаж в анализе сегодняшнего «праздника жизни», ибо, давая наивысшую оценку любой фирме или компании (им так хочется), ты одновременно отмечаешь в своей картотеке: фирма дрянь, а компания того хуже, одни подлецы и мошенники. Таким образом, постепенно, день за днем ты фиксируешь истинный ход истории, которая всегда двухслойна: вот это мы видим, а вот это мы знаем.

Антон Иванович Гудбай многому еще учил Максима (который, кстати, был моложе шефа всего лет на пять), но об этом речь впереди.

А пока, сладко потянувшись и чуть не мурлыкнув от предстоящих удовольствий жизни, Максим Котов вышел из издательства, поймал такси и помчался в Одинцово.

– Ой, Максимушка! – Нежная, тонкая рука обвила шею Максима, жаркие губы Нины прильнули к его губам, и он почувствовал, как вся она затрепетала в его объятиях, как на тонкой ее талии (под легким халатиком) забилась горячая пульсирующая жилка, но тут Нина опомнилась, взяла себя в руки, прошептала ему в ухо: – Нет, нет, не сейчас, я не одна... что ты... потом, потом, дуралей! – И тихо рассмеялась, обдав его жарким и томным дыханием страсти.

– Ох, смотри у меня! – рассмеялся и Максим, скинул лег-

кий плащ (как быстро летит время, вот и осень уже у порога, а там дожди, слякоть и грязь, бр-р...) и прошел на кухню.

Ах, какой тут стоял аромат домашних наваристых щей, как пахло одновременно теплыми дрожжевыми пирогами с капустой и кулебякой с картошкой и грибами.

– О, Настюха, привет, привет!

У раковины, спиной к Максиму, стояла Настя, тринадцатилетняя дочь Нины, мыла посуду, и вся ее поза, ленивые движения и томные вздохи говорили о том, какая это для нее пытка, домашняя работа.

– Здравствуйте, дядя Максим, – небрежно бросила Настя через плечо.

– О, я смотрю, ты раскусила философию жизни!

Потирая руки, Максим уселся за кухонный стол и окинул фигуру Насти веселым подначливым взглядом.

– О чем это вы, дядя Максим? – Настя лениво полуоглянулась на Максима.

– А о том, дорогая Настенька, что девочка, девушка, а потом и будущая мать должна знать все премудрости домашнего хозяйства. И не только знать, но и уметь многое делать по дому. Вот как твоя мама, например.

– Или вот как вы...

– Я? – Максим хитровато изогнул бровь. – А что? Я тоже многое умею.

– Вот и помыли бы за меня посуду.

– Настя, как тебе не стыдно, – вступилась за Максима Ни-

на. — Домывай посуду и марш за уроки!

— Всё бы вам марш да марш... А я, может, танцевать хочу.

— И я хочу, — сказала мать.

— И я! — рассмеялся Максим.

Настя повернулась к ним, окинула обоих презрительно-оценивающим взглядом, и, фыркнув, вышла из кухни: ох, уж эти мамы, дяди, тети... учителя жизни!

У Нины был еще сын, студент второго курса строительного института: серьезный и умный парень; и вот оба они, и Настя, и Роман, не жаловали Максима, но тот старался не обращать на это внимания.

— Мужчина, — сказал он однажды Роману, — должен быть как скала.

— Время идет, а скала стоит. Так? — поинтересовался Роман.

— И время идет. И скала стоит. И ветер дует! — рассмеялся Максим. Он обладал удивительным свойством: умел сглаживать острые углы, и чуть что — смеялся так, как будто все на свете смешно и забавно.

Но когда Максим оставался у них ночевать, Роман с Настей в одной комнате, а Максим с Ниной в другой, что-то странное происходило в квартире, все поры ее наполнялись одновременно любовью и ненавистью, потому что тайна, которая творилась в материнской комнате, так унижала и оскорбляла детей, что Максим казался им чудовищным пауком, который набрасывается на мать и высасывает из нее

соки, высасывает и высасывает, а она, дурочка, еще радуется этому, что еще больше мучило дочь и сына.

Однажды, когда дети были поменьше, они в отчаянии придумали такой трюк: натянули сетку в проеме туалетной двери, и Максим, в полутьме не разглядев ее, запнулся и полетел головой вперед. Хорошо, стукнулся головой не об унитаз, а о встроенный шкаф, кровь лилась рекой, а ноги Максима, самое главное, действительно запутались в сетке, и, когда все сбежались на крик (и мать, и Настя, и Роман), Максим в самом деле напоминал паука, бьющегося в кровавом экстазе в паутине сетки.

Все обошлось, конечно, и Нина не стала наказывать детей, а Максим, с перебинтованной головой, и в тот раз рассмеялся как ни в чем не бывало, даже подмигнув Роману:

– Вот именно, мужчина должен быть как скала! Правильно я говорил.

Может, правильно, может, нет, но ненависть, глубоко спрятанная, подспудная ненависть, с которой дети встречали Максима, и то облегчение от этого гнетущего, омерзительного чувства, которое они испытывали, когда Максим уходил, эта ненависть и одновременно облегчение от нее были самым страшным испытанием для них. Да и для Максима в будущем тоже.

В три часа пополудни Антон Иванович, как штык, стоял около Разумовских бань. Лет сорок, пожалуй, не виделись они с Виталием Капитоновым, и трудно, конечно, сказать,

узнают ли они друг друга, во всяком случае Антона Ивановича редко кто признавал сразу: широкая окладистая борода, большие залысины на голове и тяжелые массивные очки делали свое дело. Но вот странная вещь: сам он Виталия Капитонова узнал мгновенно. Быстрый, с серебристым упругим ежиком на голове, с ярким румянцем на щеках, в длинном черном кожаном плаще, с игривой тросточкой в одной руке, а в другой с небольшим ридикулем, из которого смело торчал дубовый веник, Виталий сразу производил впечатление красавца-мужчины, к тому же удачника, к тому же денежного мешка. Была в его движениях некая барская свобода, уверенность и широта натуры.

– А тросточка-то зачем? – первое, что спросил у него Антон Иванович (нашел что спросить).

Виталий громко рассмеялся (при этом зубы его белоснежно и блистательно обнажились):

– Для понта, для понта, Антоша! – И он крепко, по-медвежьи ухватисто обнял Антона Ивановича, бросив ридикуль прямо на землю, на зеленую траву газонной лужайки.

Первые слова, первые восклицания и удивления – все это проходило для Антона Ивановича как в тумане, и по-настоящему он пришел в себя, только когда они сидели уже в предбаннике, и к ним подкатил простецкий такой мужичок в лихой войлочной шляпе:

– Ну, Виталий Константиныч, какого сегодня парку сделаем?



– Первейшего, первейшего, Никитич! У меня, вот видишь, – он ткнул пальцем в пухловатую грудь Антона Ивановича, – сегодня друг в гостях, друг детства, понимаешь, а? Так что ты уж постарайся, Никитич, чтоб с огоньком был парок, с задорцем, ядреный!

– Да я не так что бы... – запротестовал было Антон Иванович, на что Капитонов с улыбкой хитреца и мага резонно возразил:

– Тоша, сегодня ты у меня в гостях. Так что слушаться, слушаться! Ясно?!

И действительно: первый парок получился так густ и задирист, что Антон Иванович мешком сполз вниз с верхнего полка и, ошалело вытаращив глаза, схватился ладонями за уши, которые не горели – пылали огнем.

Мужики наверху смеялись не над Антоном Ивановичем, а над Капитоновым:

– Что-то слабоват у тебя дружок, а, Константиныч? Дай-ка нам его на выучку, мы его быстро приведем в норму. Ну, отдаешь?

– Ага, отдай ягненка волкам на съедение! – вступился за друга Капитонов. – Тоша, ты посиди там, посиди... Парок, он сейчас спадет, а потом подымайся. Я тебя сам похлешу от души, помнишь, как не дал мне списать контрольную по арифметике?

– Какую контрольную? Ты чего? – ошалело завертел головой Антон Иванович.

– Как какую?! Мужики, он мне во втором классе не дал списать контрольную, имею я теперь право отплатить ему?

– Законное право имеешь, Константиныч! – загоготали мужики. – Самое что ни на есть законное, точно!

Постепенно Антон Иванович по привычке к жару, к подначкам и соленым словечкам мужиков и забрался наконец на верхний полок, где Виталий, друг детства, уложил его на широкую, из крепкого осинника, лавку и начал умело охаживать дубовым веником. Нет, он не бил его и не хлестал, а то резкими, то плавными движениями (волна за волной, волна за волной) окатывал распластанное тело тугим прокалённым жаром, так что вскоре Антон Иванович поплыл в истоме и блаженстве в давно забытые грезы детства. А то вдруг Виталий начинал осторожно-любовно охлёстывать распаренное, разомлевшее тело Антона Ивановича размягченным духовитым веником, и тогда казалось, что каждая косточка, каждая жилка его охватывались внутренним нежарким огнём...

После парилки они бултыхались и резвились, как дети, в бассейне, а потом опять и опять забирались на полку, и тут уж Антон Иванович пытался охаживать Виталия веником, но у него плохо получалось, мужики незлобливо гоготали, а истый банщик Никитич отбирал у Антона Ивановича веник и начинал так обхлестывать и отделывать Капитонова, что тот только стонал и крякал и охал, но молил об одном: еще, еще поддай, Никитич, вот так, о-о, вот так, так, молодец!..

А когда закончилась первая ходка в парилку, а потом и

вторая, они наконец немного утомонились, верней, Виталий Капитонов утомонился, и, сидя на лавках, закутавшись в простыни, они в блаженной истоме и жажде сдували высокие шапки пены с высоких же кружек и пили, и наслаждались, и упивались свежайшим янтарно-золотистым бочковым пивом.

– Ты понимаешь, Тоша, нет, ты не понимаешь, а надоело мне все к чертовой матери (кроме баньки, конечно, кроме баньки! – с улыбкой хитреца сам себе возражал Капитонов), и вот, не поверишь, решил я бросить все и куда-нибудь укатить, в такие этакие какие-нибудь чертовые дали, чтобы и не найти меня было... Понимаешь ты или нет?

– А что случилось-то, Виталий, ты объясни...

– Да в том-то и дело, что ничего не случилось, все хорошо и распрекрасно, а душа болит, места себе не находит... Можешь ты это понять?

– Пока нет.

– Вот, я помню, ты и в школе только арифметику понимал, дважды два там да трижды три, а душу не понимал.

– Какая душа? О чем ты? Мы же пацаны были.

– Да не был ты никогда пацаном!

Антон Иванович оторопело взглянул на Капитонова, но тот вдруг примиряюще улыбнулся, приобнял Тошу за плечи и проникновенно спросил:

– Ты мне одно объясни: кого любила Эля Хмельницкая?

– Чего-чего?

– Кого любила Эля Хмельницкая?

– Да никого она не любила! Это нам, многим, она нравилась, а она никого не любила.

– Да? – Виталий погрозил Антону дурашливым пальцем: – Смотри у меня, если врешь! – И неожиданно круто зашелся в громком жизнерадостном смехе.

После третьего, а потом и четвертого заходов в парилку они, хоть и продолжали потихоньку наслаждаться пивом, разговаривали все меньше и меньше, как бы уйдя в себя внутренних, чистых, отпаренных и отмытых.

Но когда они вышли из бани, Виталий как бы опомнился, хлопнул себя по лбу и сказал:

– Я ведь тебя зачем приглашал, ты знаешь?

– В баню, наверно, сходить. Детство вспомнить.

– В баню. Точно. Но, во-первых, держи-ка вот эту штуку, – и он протянул Антону Ивановичу свою изумительную, резную, ручной работы трость.

– Зачем это?

– Это тебе мой подарок!

– Да зачем она мне?

– Подарки, Тоша, не выбирают. Держи. Будешь потом меня вспоминать. (Антон Иванович, делать нечего, подхватил трость, и, надо сказать, она вошла в его руку, будто сделана была именно для него.) А, во-вторых, Тоша, и это самое главное, мы сейчас идем ко мне домой.

– К тебе домой?

– Я тут рядом, два шага. Почему и в баню эту хожу... Это же главное – мы должны посидеть, поговорить.

– Может, для первого раза хватит?

– Тоша, цыц! Тебе старшие слова не давали. Гость – он раб хозяина, ты не бывал в Африке, что ли?

– В Африке?

– Да, в Африке. Там гость – всегда раб хозяина и слушается его, как пес.

И не мог понять Антон Иванович, шутит Капитонов сейчас или нет; но одно уяснил твердо: спорить с Виталием бесполезно. Кроме того, положа руку на сердце, он тоже не очень-то хотел расставаться с ним, что-то как будто оставалось то ли неясным, то ли притягательным в их встрече.

Квартира Капитонова удивила Антона Ивановича. Не в том дело, что она была большая и богато обставленная. А в том, что она претендовала на утонченность и изысканность, а выглядела, по меньшей мере, странновато. Прихожая: черная гранитная плитка (какое-то преддверие ада). Кухня: плитка золотая (ну, или как золотая). Спальная комната: сплошной пурпур. Столовая – огромный овальный стол, причем на низких пузатых ножках, так что сидеть приходилось не на стульях, а на жестких подушках-кушетках (как бы на полу, на огромном персидском ковре). Стол – широкое инкрустированное поле – заставлен мыслимыми и немыслимыми бутылками с вином, водкой, коньяком, джином, бренди и бог его знает чем еще. В туалете, как в космо-

се, в полумраке мерцают голубые звезды плафонов, а в ванной, как в операционной, сверкает все никелем и белизной.

Уселись за стол, на низкие кушетки; Антон Иванович все как-то не мог приноровиться к своему сиденью. Капитонов, бросив на него хитровато-оценивающий взгляд, весело расхохотался:

– Вот так все поначалу! А потом ничего, нравится... Главное, захотел – завалился на ковер, бабам это особо по душе.

И, когда выпили по первой рюмке (а выбрали оба, не сговариваясь, русскую водку) и закусили черной икоркой и себристи-сахарной осетринкой, Капитонов продолжил разговор про женщин, ткнув при этом пальцем в персидский ковер:

– Хотя им, нашим русским бабам, им все мало. Им или мало, или плохо, или черт его знает еще как, но главное – всё не так и не то, согласен, Антоша?

– Да разные они все, Виталий.

– Ты думаешь, я на них жалуюсь? Плевать мне на них. Понимаешь, надоели они мне все, вот в чем штука. И не только бабы. Всё надоело. Обрыдло и опостылело. Ты хоть знаешь, кем я был до недавнего времени?

– Кем?

– Я, Тоша, был директором огромного завода. Станки мы строили, сеялки, трактора, много чего. А когда меня в Москву позвали, замом министра, я тут чуть с ума не спятил. Я там хозяин, не только завода, но почти всего города, пусть он

не большой, город этот, но все же... А здесь я на побегушках. Да и не в этом суть. Там было дело, а здесь муть какая-то. И главное – денег мало. Жена пилит, дочери...

– Это всегда так, – поддакнул Антон Иванович.

Подняли рюмки, чокнулись, выпили.

– И занялся я бизнесом... Бизнес по-русски – это знаешь, что такое?

– Да я многое знаю...

Они начали потихоньку хмелеть, разговор пошел живой, откровенный, по душам.

– Ты вообще-то чем сам занимаешься? – поинтересовался Капитонов.

– Рецензированием.

– Это еще что такое?

– Как что? Тебе надо раскрутить фирму – мы к вашим услугам.

– Что-то я такого не слышал... Ты мне лучше скажи: почему Эля Хмельницкая выбрала не тебя, не меня, не Васю Костоусова, не Лёню Радэ, не поэта Владимира Дагурова, а Терку Баженова?

Антон Иванович чуть не поперхнулся, откусывая аппетитную севрюжку и запивая ее ядреным томатным соком.

– Да с чего ты взял, что она его выбрала?

– Но ведь не за меня и не за тебя она вышла, а за него?!

Тут уж расхохотался Антон Иванович:

– За Терку? Брось! Я его жену знаю: это совсем другая

женщина. Татьяна!

– Так я тебе и поверил. У меня, знаешь, сведения точные, как весы в аптеке.

– Ты про какого Терку говоришь? Про нашего? Который сейчас писатель?

– Про него.

– Да он здесь, в Москве живет. К нам частенько заходит. Материалы на рецензию берет.

– Постой, постой, а ты кто такой? Какие рецензии? Ты кем работаешь?

– Президентом Академии.

– Ты? Президентом Академии? Какой еще Академии?! Не смей меня... Ладно, я не об этом: я о бизнесе по-русски. Слыхал о таком?

– Еще бы. Каждый день имею с ним дело.

– Так вот, то у меня завод, а то у меня шиш на постном масле. И стал я на своем заводе станки старые скупать. Есть даже такой станок: пробки, к примеру, делает. В Подмосковье склад арендовал, старый станок привез, подкрасил, подчистил, подмазал (тут мне зятя помогали) и продал как новенький. За три тыщи купил, за пятнадцать продаю, за десять берут. Понял, какой бизнес?

– Еще бы.

– А тут приезжаю на склад, меня охранник спрашивает: «Ты кто?» – «Я-то, говорю, я некто, а вот ты кто?» – «Если ты, отвечает, некто, то значит никто! И пошел вон!..» Ты



врубаешься, Антоша?

– Знакомая история.

– Не в том дело, конечно... А, да что тебе говорить! – махнул рукой Капитонов.

– Не скажи, – возразил Антон Иванович. – Я таких поворотов много знаю...

– Ты пойми: я могу кого хочешь в порошок стереть. В бараний рог согнуть. Через мои руки миллионы проходят. Но... тошно мне! Не из-за этого охранника, нет, вообще тошно. И решил я бросить всё, уехать куда-нибудь к чертовой матери! Вот хоть в Испанию, например.

– От себя далеко не уедешь, Виташа.

– Чего-о? Много ты знаешь! Вот бабы... ой, как они мне опостытели! А дети... зятя, дочери... Всем чего-то надо, без конца то просят, то требуют, и при этом, заметь, Тоша, никто никогда не бывает доволен. Прорва какая-то! И вот был я как-то в Испании, приглядел там в маленьком городишке отель... на берегу Средиземного моря... и ты знаешь что?

– Что?

– Сторговался ведь я! Четыреста тысяч всего – и гостиница твоя. На веки вечные. И солнце. И море. И покой... Ты представляешь?

– Ну, так... с трудом...

– Давай выпьем за это!

– Давай.

Выпили.

– Кстати, тысяч двадцать у тебя не найдется свободных?

– Долларов, что ли? – не понял Антон Иванович.

– Можно и евро, – усмехнулся Капитонов. – Ладно, это  
я так, к слову. Сам выкручусь... А встретился я с тобой по-  
прощаться, Антоша. Понимаешь ты это или нет?

– Да куда ты от самого себя денешься? Волком завоешь в  
хвалёной своей Испании.

– Нет, все, решено: уезжаю. Пропади оно все пропадом!  
Но есть у меня к тебе одна просьба...

– Если деньги – то денег у меня нет.

– Какие деньги! Родителей моих, мать с отцом, ты, может,  
помнишь?

– Дядя Костю с тетей Верой?

– Вот именно! – обрадовался Капитонов. – Помнишь, точ-  
но. Так ведь они живы!

– Я знаю.

– Значит, бываешь на Урале, в Северном поселке? На на-  
шей улице?

– Ну, а как же.

– Вот, старик, об этом и речь. Я уеду – они одни останутся.  
Кому они на Урале, в нашей глуши, нужны? Жена моя знать  
их не хочет, а дети – тем вообще все до лампочки. Будешь в  
Северном – навестишь их?

– О чем разговор.

– Ну, Антоша, золотой человек, дай я тебя обниму. – И

они в самом деле троекратно облобызали друг друга.

А хмель-то брал, брал свое... И какими родными, близкими чувствовали они сейчас себя!

— Я Герку-то Баженова тоже хотел найти. Попросить... Но он ведь у меня Эльку увел, не могу ему простить!

Антон Иванович нахмуренно погрозил Капитонову пальцем:

— Какую Эльку? Когда увел? Да она на Украине с мужем живет, знать о нас ничего не знает...

— Нет, Герка ее увел от меня, точно тебе говорю, и женился на ней. И досталась мне только одна утеха, моя жена. А вот родители мои (знаешь ты это или нет?) Баженова как писателя очень даже уважают. Все книги его перечитали. Всё расспрашивают меня о нем...

— Хочешь, хоть сейчас Баженова вызовем? Я позвоню ему, он в Москве.

— Нет, это родители его обожают. А я... так... Испортил он мне всю жизнь, отобрал невесту, любовь, крест поставил на моей судьбе. Теперь вот с дурами только и вожусь...

— Виташа, я тебя в последний раз спрашиваю: ты дурак или только прикидываешься? У него другая жена. Это раз. А второе: ты хоть сам-то читал Георгия Баженова? Земляк ведь наш, одноклассник?

— Никогда.

— Никогда не читал Баженова?!

— Никогда!

– Ну и черт с тобой. Поезжай в свою Испанию. Пропадай там, если дурак. Родители-то твои умней тебя: Баженова читают, да и ты, помяни мои слова, как будешь сидеть в отеле, в Испании-то своей, на берегу моря, так вспомнишь про наш Урал, возьмешь его книги и прослезись, горькими слезами обольешься о нашей родине...

И, странное дело, здесь они горячо обнялись и заплакали оба – не как женщины, громко и горячо, а просто слезы сами собой лились у них из глаз и лились...

Тут Антон Иванович обратил внимание, какое красивое и широкое окно в столовой Капитоновых, красивое особенно потому, что там, за этими резными из шикарного красного дерева рамами, начинал синеть вечер, в окнах напротив то там, то сям зажигались яркие огни, и Антон Иванович неожиданно поинтересовался у друга:

– Ну, а летать-то ты хоть умеешь?

– Как летать? – не понял Виталий Капитонов.

– Обыкновенно. – Антон Иванович подошел к окну, распахнул раму и показал на густую синеву Москвы, на мириады сверкающих и мигающих огней.

– Ты что, убиться хочешь, что ли, дурак?

– Я не убьюсь, – успокоил Виталия Антон Иванович. – Я на самом деле умею летать. Я сейчас тебе покажу. – Он быстро взобрался на подоконник, вздохнул поглубже и, прежде чем полететь, сказал: – Главное, это первые взмахи. Ты должен почувствовать, что воздушная волна упруга и эластич-

на, ты должен попасть на ее крыло, и она сама подхватит тебя, она никогда не подведет, если ты умеешь разбираться в полетах. — И, вздохнув, добавил: — Конечно, первые взмахи самые тяжелые, это правда, но потом... Вот смотри!

И Антон Иванович спокойно шагнул за окно, исчезнув в синеем проеме бездонного пространства... Тут же, правда, упругая волна подхватила Антона Ивановича, как бы покачала его немного на себе, как в люльке, а затем Антон Иванович один раз и два и три самостоятельно взмахнул руками, как крыльями, и почувствовал: получается... в который раз получается... И уж если он летал, он любил кувыряться, делать затяжные сальто, как в детстве, когда занимался гимнастикой, и не просто сальто, а пируэты со многими поворотами и разворотами, а, набаловавшись и натешившись, вновь принимался махать окрылёнными руками и поднимался с воздушной волной все выше и выше, вначале над домами и улицами, потом над кварталами, потом над районами, а потом и над всей Москвой, а потом и дальше, над Подмосковьем, а там уносился в такие дали и выси, что дух захватывало, накатывал страх, что как бы не вырваться навеки от земного притяжения, и Антон Иванович складывал окрылённые руки вдоль тела, и начиналось порывистое, до сердечной боли, захватывающее снижение над Москвой...

Когда он снова оказался на месте, Виталий Капитонов преспокойно спал за столом, уронив голову на тарелку с изящно порезанной осетринкой с севрюжкой, а сам Антон

Иванович сидел напротив и смотрел на Капитонова с недоумением и оторопью... Надо же, такой красивый и мощный полет, а Виталий спит как ни в чем не бывало!

Антон Иванович не решился тревожить сон друга (проснется, опять пирование продолжится, а время позднее, жена дома ждет, будет, конечно, волноваться, где он да что с ним...), он просто забрал подарок Капитонова – изумительную по красоте, ручной работы трость и, щелкнув английским замком, захлопнул за собой дверь.

...Позже он будет мучительно вспоминать, в тот ли, в первый день их встречи, или как-то по-иному (от других людей, например, а может и от родственников Виталия Капитонова), он узнал, что гостиница на берегу Средиземного моря, которую тот купил в Испании, носила шикарное имя – BINGO.

Больше всего на свете любила Елена Михайловна то межвременье, когда на работе не было ни Антона Ивановича, ни Максима Котова: сама себе хозяйка, что хочешь – то и делай, хоть пляши. С другой стороны, ей очень нравилось, когда в Академию приходили посетители – хоть кто, лишь бы новые люди.

Причина одна: свои не обращают на ее женские прелести никакого внимания, а чужие обращают внимание прежде всего как раз на ее прелести.

– Ну посмотри же, Максимчик, – сколько раз, смеясь, говорила она Котову, – вот они, мои сестрички, вот они, мои

двойняшечки, на-ка, потрогай! – и она поигрывала своими грудями, подпирая их нежными шаловливыми ладошками.

Но у Максима была своя, но пламенная страсть: женщины только худенькие, бр-р...

Антон Иванович... тот, наоборот, частенько производил впечатление, будто не знает, что такое и кто такие вообще женщины, хотя... И тут Елена Михайловна игриво-кокетливо грозилась пальчиком: в тихом омуте черти водятся. А у Антона Ивановича просто был твердый принцип: на работе ни-ни, а уж дальше, как кривая вынесет.

«Ну и ладно, ну и Бог с вами, а кто сегодня придет первый, того и поцелую!» – капризно решила Елена Михайловна, имея в виду, конечно, посетителей или просителей.

Когда Антон Иванович вернулся домой, его встретила странная тишина. Верней, не тишина то была, а какая-то настороженность, напряженность в воздухе, хотя Марина Михайловна расцеловала его в дверях как всегда ласково и приветливо. Но что-то в ее глазах было загадочно-потайное, необычное.

– Ой, от тебя вином пахнет! И... дубовым веником, что ли?

– Правильно. Я в бане был. А хлестали меня дубовым веничком. От души.

– В бане? Когда? С кем?

– Друг детства объявился. Виталий Капитонов. Вот,

трость подарил! – Он горделиво протянул жене изящную свою вещицу, резную и такую удобную в руке.

– Ой, красивая какая! Надо же! – Марина Михайловна прижалась к ней щекой. – Морем пахнет, свежестью...

– Морем? – не понял Антон Иванович. – Как это трость может пахнуть морем? – и улыбнулся. – Чудачка ты, право.

Марина Михайловна проводила мужа на кухню, села напротив него за стол и подперла щеки ладонями.

– Ты ничего не слышишь? – загадочно прошептала она.

– Нет, а что? – Антон Иванович прислушался, но ничего как будто не разобрал.

– Тебе ничего не кажется странным?

– Станным?... Гм, странной мне кажешься только ты. Впрочем, не обращай внимания. Я пьян.

– Ты пьян? Да нет, просто от тебя пахнет вином, причем каким-то хорошим, тонким... что вы пили?

– Водку.

– Водку? Не может быть. А какой аромат приятный.

– Это у Капитонова квартира такая. Как винный музей... Погоди-ка, а может, мы и вино пили? Что-то я не совсем помню... Он странный вообще – то мужик, забубенный.

– Итак... – произнесла загадочно жена, – ты ничего не слышишь?

– Да нет... – Антон Иванович покрутил в недоумении головой. – Ничего.

– А тишина? Ты слышишь, какая тишина?



– Да, что-то такое есть... Но я не пойму... Марина, ты о чем все-таки?

– Не знаю, радость это или печаль. Но в одном я убедилась: ты пророк.

– Ну, хватила в самом деле! Что случилось-то?

– А вот что. У соседей наверху собака покончила самоубийством.

– Как покончила самоубийством?

– Да так... Запрыгнула на подоконник, рама была открыта, и выбросилась из окна...

Антон Иванович округлил глаза:

– Ты-то откуда это знаешь?

– Все в доме говорят.

– И что, насмерть?

– Конечно. С двадцать первого-то этажа...

– Бедный Бинго! Бедный Бинго! – с искренней болью в голосе произнес Антон Иванович.

– А помнишь, сколько раз ты говорил: «Кончится все это тем, что не выдержит собака издевательств и выбросится из окна!»

– Каких издевательств?

– Одиночества. Вечного, постоянного одиночества. Сколько она выла, сколько гавкала, сколько страдала, с ума можно сойти.

– Да, что-то такое я говорил...

– Не «что-то такое», а именно так ты и говорил: «Выбро-

сится из окна, помяни мое слово!»

– Как я любил его пение...

– Какое пение? Ах, это... никак я не могу привыкнуть, что вой и лай собаки ты называешь пением.

– Ты просто не понимаешь...

– Да что тут понимать? Я хорошо помню, ты сам долго не переносил ни ее лая, ни ее воя.

– А потом я понял, что она страдает, а разве может чужое страдание раздражать или выводить нас из себя? В страдании Бинго я научился различать плач души, а плач – это своего рода песня, только грустная, страшная в своей боли и пронзительности.

– Ну, про это я ничего не хочу слушать, – махнула рукой Марина Михайловна. – Вой, плач, песня... Какая там песня, если места себе не находишь в собственной квартире. Общий для всех дом – это не зверинец и не вольер для любителей животных. Я хочу, как все нормальные люди, жить спокойно и наслаждаться уютом и тишиной. Имею на это полное право.

– Да, но какие высоты он выдавал в своем песенном горевании, в трагическом упоении одиночеством и тоской! Какие глубины! Какие небесные дали!

– Ты до сих пор пьян, что ли?

– Да, пьян, наверное. А что?

– Несешь как всегда околесицу про этого несчастного пса. Царство ему небесное.

– Нет, ты не понимаешь, Марина...

– Я одно понимаю (и убедилась в этом не раз): ты пророк. Не знаю, какой величины, какого масштаба, но пророк. Вот как что скажешь, так тому и быть. Бояться тебя надо. Ох, бояться, Антоша!

– Скажешь тоже... Ты лучше ответь: есть ли у тебя супчик какой-нибудь такой понаваристей да погорячей?

– Ах, подлизуля... Есть, конечно, есть. Сейчас налью! – И, поцеловав Антона Ивановича в его такую домашнюю, теплую лысину на макушке, Марина поднялась из-за стола и направилась к плите.

Нина приехала в Москву из деревни Гиреево, с Владимирщины. Говорят, когда-то хан Гирей оставил на месте русского поселения пепелище, а оно возьми да возродись. Пепелище прозвали Гирей, заклеить хотели хана, но, как часто у нас бывает, увековечили его имя. Так и пошла новая история деревни: Гиреево да Гиреево. Ничего татарского, конечно, в жителях Гиреева не наблюдалось, кроме раскосых глаз да тончайших талий у девушек, но все же от других людей они явно отличались: то ли статью своей, то ли нором, то ли черно-дымными глазами с поволокой. Во всяком случае, как только появилась Нина в строительном общежитии, многие пытались приударить за ней, да не получалось: дикая какая-то была, резкая, неуправляемая... А что хотели-то? Девчонке всего семнадцать, будешь тут дикой, когда

всего боишься да от всего шарахаешься: чего этим мужикам надо? Да и мать перед глазами стоит, когда отпустила Нину в Москву: «Смотри, в подоле принесешь – убью!»

А тут как-то раз приехали веселые ребята из Армении, да и не работать вовсе, а так, в гости к кому-то, верней, один был родственник Верки-разлучницы (прозвище такое у нее было), а другие двое с ним за компанию прикатили. Вот Тигран, один из троицы, и сказал Нине, глядя твердым и честным взглядом в раскосые ее глаза:

– Ты жена моя!

По-русски он говорил плохо и что хотел сказать, трудно понять, скорей всего: «Ты такая женщина-красавица, вай-вай, и как я хочу тебя!» – а получилось:

– Ты жена моя!

Как околдовал ее. Ничего она не понимала ни в любви, ни в словах, ни в обещаниях, а только так вот бездарно и странно отдалась ему, потому что он твердо сказал, как отрезал:

– Ты жена моя!

В Гиреево, конечно, она не поехала (мать убила бы), а мальчонку преспокойно родила. Всем общежитием его растили: «Рома да Рома ты наш, красавец, умница...» Да и сестры помогали (три сестры у Нины), тайком от матери приезжали, баловали пацана да тешились им.

Вскоре и комнату ей отдельную дали. Зажила совсем королевой...

А вот Настя родилась – это уже от настоящей любви: люб-

ви зрелой, окрылённой, глубокой, бесшабашной. Жаль только, отец Насти, Равиль, женат был, а у них, у татар, с этим строго: разведёшься, жену-детей бросишь – весь род твой проклянут в десяти коленах. Главное, что Равиль сделал для Нины, так это квартиру однокомнатную выбил (он прорабом на стройке был), а потом и двухкомнатную, когда Настя появилась. А затем годы, и жизнь, и судьба... всех и вся разбросало по разным местам...

В Одинцове, вот как идёшь от станции к Нининому дому, есть одна небольшая рощица, наполовину дубовая, наполовину березовая, здесь-то и любила иногда погулять Нина в одиночестве. Однажды смотрит: около березового пня, верней около березки, которая как будто молнией срублена косо так и грубо, стоит мужчина то ли на коленях, то ли на корточках (не разобрать) и вроде как поклоны бьёт. Странно...

Нина прошла туда, прошла сюда, минут через пять оглянулась, а мужчина все на том же месте. И не мужик, нет, а именно мужчина: благородный такой, интересный, одет хорошо. Странно все же... Подошла поближе, стоит, молчит.

– Наверно, спросить хотите, что я тут делаю? – Мужчина обернулся к ней, и тут она увидела его глаза: веселые, иссиня-голубые, искрящиеся озорством и лукавством.

– Да неудобно вроде спрашивать, – пробормотала она.

– А я поклоняюсь идолу, – спокойно объяснил мужчина.

– Какому идолу? – изумилась она.

– А вот этой березке. По сути дела, пню. Видите, березку

сразила молния, а она ничего, стоит себе и стоит.

– Вы это серьезно? Насчет идола?

– Конечно, – улыбнулся он. – Я идолопоклонник. Вам разве не встречались такие?

– Никогда, – призналась она.

– Ну, может, это и хорошо. Сейчас, знаете, все верующие, а идолопоклонников никого.

– Да какие в наше время идолопоклонники? – продолжала изумляться Нина.

– Э, не скажите. – Мужчина поднялся с коленей, отряхнул брюки перчаткой (у него были изумительно тонкой отделки ажурные кожаные перчатки, не перчатки, а заглаженные!). – За тысячелетнюю историю человечеству открылось много разных религий, и все они по своей сути поклоняются какому-то своему идолу: мысли, образу, понятию, откровению... Я, например, поклоняюсь вот этой березке. Солнцу. Женщине. Воде. Рассвету. Но больше всего вот этой березке.

– Почему именно этой березке? Вы здесь живете?

– Нет, я живу в Москве. Но как бы вам это объяснить... Это долгая история, и я не знаю, если у вас время, чтобы...

– Время есть. Что вы! Мне очень интересно. Вы меня заинтриговали.

– В таком случае, давайте познакомимся. Меня зовут Максим.

– А я Нина.

– Очень приятно. Вы понимаете, Нина, я однажды полу-

чил письмо из будущего...

– Из будущего?

– ...верней, из прошлого. Одним словом, это было письмо моего отца, который написал его в далеком прошлом в расчете на то, что, когда я вырасту, я смогу правильно оценить его и понять.

– Очень интересно.

– Отец у меня хирург. Он когда-то воевал под Москвой, а потом долгие годы прожил на Урале, в поселке Нижние Дворики, слыхали про такие?

– Нет, никогда.

– Так вот, он написал мне, что, когда я вырасту и, главное, он подчеркнул это, главное, когда я смогу по-настоящему понять и оценить его мысли, я должен буду приехать в Одинцово, найти вот эту рощицу и поклониться ей. А еще лучше какой-нибудь пораженной молнией березке, пусть даже пню, и иногда приезжать сюда, постоять около березки, поблагодарить ее...

– Но почему именно сюда? – не поняла Нина.

– В том-то и дело. После страшной мясорубки под Москвой отец работал в военном госпитале в Одинцове и часто приходил как раз сюда, вот в эту рощицу (он мне нарисовал ее), и именно здесь, буквально, наверное, на том самом месте, где мы сейчас стоим, он принял твердое (а лично для меня судьбоносное) решение: на свет должен появиться я, его сын, его продолжение.

– Как, один? Без мамы?

– Почему без мамы? – улыбнулся Максим. – Моя мама, жена отца, работала в том же госпитале, официанткой.

– Так, понятно... Но при чем здесь роща-то?

– Вам приходилось когда-нибудь принимать ответственные решения?

– Да я как-то всё по-простому... Точней, живу, как дура, вот такие и решения принимаю.

– Ну, что вы наговариваете на себя? – стал защищать ее Максим. – А суть моей мысли такова: вы должны поклоняться чему бы то ни было, но поклоняться. Я поклоняюсь роще, потому что благодаря именно ей я появился на свет. Вот и всё.

– Значит, и я тоже могу быть идолопоклонницей?

– Про вас не знаю ничего. В наше время быть идолопоклонником непросто. Раньше притесняли за веру, а теперь вот и нам нелегко.

– А где же ваша мама?

– Мама умерла. И отец тоже. Но они не жили вместе. После развода мама воспитывала меня одна. Мы с ней жили в Свердловске, а отец в Нижних Двориках. Она работала официанткой в ресторане «Большой Урал». Бывали в «Большом Урале»?

– Да я вообще на Урале никогда не была.

– Жаль. А у меня есть мечта...

– Какая?



– Когда-нибудь перебраться на веки вечные в Нижние Дворики. Поближе к отцу. Так получилось: я никогда не видел его.

– Как же это? – не поняла Нина.

– А так, что мать воспитывала меня в ненависти к отцу. мол, бросил нас. А там совсем другая история... И вот, представьте, я получаю из будущего письмо... верней, из прошлого, от отца, где он пишет всю правду. Но до этой правды мне нужно было дорасти. И вот потому я здесь. Вот в этой роще. Поклоняюсь березке...

– Ой, какие бывают интересны люди! Я никогда таких не встречала. А можно вас пригласить на чай?

– На чай? – улыбнулся Максим. – А вы не боитесь меня?

– Вообще-то сейчас многое что происходит. Но вам я как-то доверяю. Если честно, я еще никогда не встречала человека, который бы вот так просто и ясно сказал: я идолопоклонник! Все чего-то темнят, скрывают, приукрашивают себя, одних верующих развелось, с ума сойти можно. А вы не такой. Поклоняюсь березе – и всё! Здорово!

– И солнцу поклоняюсь. И воде. И рассвету. И женщине, – улыбнулся он в который уже раз открытой и чистой своей улыбкой.

Вот так они познакомились. В то время Максим Котов еще не работал с Антоном Ивановичем, верней, был на перепутье: уходил из одной компании и устраивался как раз к Антону Ивановичу, в «Департамент немедленного рецензи-

рования».

– Кстати, вы кто по специальности? – спросил Максим у Нины.

– Я? Строитель. Но сейчас, как говорят в шутку, временно постоянно не работающая.

Максим рассмеялся:

– Остроумно. Но если серьезно, я, пожалуй, могу помочь вам.

– Правда?

– Есть одна компания. Сейчас я оттуда уйду, но вас могу порекомендовать. Работа нетрудная и денежная.

– Разве остались еще такие? – кокетливо рассмеялась и она. – Ну да ладно, заболтала я вас, вот мой дом, заходите, заходите...

«Кто сегодня первый придет, того и поцелую!» – капризно решила Елена Михайловна. И не успела она до конца почувствовать свое решение, как в Академию явился собственной персоной писатель Баженов.

– Георгий Викторович! Здравствуйте, здравствуйте, – заворковала Елена Михайловна. – Вы не поверите, но вам сегодня шикарно повезло...

– ...премия? повышенный гонорар? выдвижение в лауреаты?

– Фу, какая грубая фантазия! Нет, Георгий Викторович, совсем другое. – И Елена Михайловна, грациозно подняв-

шись со стула, натурально обняла писателя Баженова и поцеловала его долгим, нежным, страстным поцелуем прямо в губы. При этом две сестрички ее, две двойняшечки, заходили ходуном и ласково прижались к нему, как самые близкие чуткие родственницы.

– Ах, Георгий Викторович, старый вы ловелас, – прошептала Елена Михайловна. – Как, оказывается, вы хорошо умеете целоваться.

– Правда?

– Я вообще заметила: писатели очень хорошо целуются.

– А вы многих из них знаете?

– Я знаю одного, но зато какого – Георгия Баженова! – со смехом воскликнула Елена Михайловна.

– В таком случае, Леночка, вам презент! – И как бы из ниоткуда, а может, из кармана, а может, Бог его знает еще откуда (Баженов частенько показывал Елене Михайловне карточные фокусы, которые своей загадочностью и замутнёностью приводили ее в искренний восторг!), перед лицом Елены Михайловны затрепетали три красочных лотерейных билета.

– Что это?

– Леночка, это судьба! Я бы сам воспользовался ею, но решил вручить ее вам. С судьбой не спорят и не шутят. Ее покорно принимают. – И он с легким поклоном протянул ей неожиданный подарок.

– Но что же это?!

– Это билеты «Бинго»! Каждое воскресенье разыгрывается счастье человека и вы можете стать обладательницей жар-птицы.

– Ах, Георгий Викторович, какой жар-птицы! Но спасибо вам, спасибо, дорогой, спасибо, мой сладкий! – И она вновь прильнула к его губам долгим и страстным поцелуем.

Баженов, конечно, не сопротивлялся.

– Но постойте, – вдруг вспомнила Елена Михайловна, – «Бинго», «Бинго»... Ведь в этой конторе, кажется, работает краля нашего Максима.

– Какая краля?

– Да неужто вы не знаете, Георгий Викторович? Вот всегда так: писатели, как мужья о женах, все важные новости узнают последними. Ну эта его, худенькая, как ее... Нина! Точно, она в «Бинго» работает. Вот хохма будет, если я выиграю! Я им там всем нос утру.

– Непременно выиграете, Елена Михайловна. Ну, а как там для меня? Есть что-нибудь на сегодня?

– Для вас, Георгий Викторович, всегда найдется. Вот, смотрите, куча рецензий на редактуру!

– Спасибо.

– Кстати, оплата через неделю. Не забывайте. И вот что еще... Давно хотела вас спросить: знаете, например, почему я до сих пор ни одного вашего произведения не прочитала?

– Неужели ни одного? – удивился Баженов, хотя знал: точно, ни одного.

– Ни одного. Вам обидно?

– Я завидую вам, Леночка. У вас впереди столько радости и удовольствия от чтения.

– Вы всё шутите, а я серьезно. Так знаете, почему? Потому что о вас никто не говорит. Ни одна живая душа. А секрет жизни знаете?

– Какой именно?

– А такой, что скромность – кратчайший путь к забвению. Надо кричать о себе, надо требовать, надо топтать ногами, надо скандалить наконец! Ну, идите сюда, бедный вы мой, я вас пожалею... поцелую... – И она в самом деле, такая игривая и ненасытная, опять стала целовать его страстно и серьезно. – Так и быть, Георгий Викторович, беру над вами шефство. Буду таким рупором, что о вас даже под землей услышат. Согласны?

– Под землей не надо. А вообще – согласен.

– Ну и договорились, милый... милый вы мой... дайте я вас...

## **Часть вторая**

### **Какой – такой – никакой**

Однажды Антон Иванович понял простую истину: воевать нужно только тогда, когда знаешь наверняка – выиграешь. Да, конечно, в пылу гнева и раздражения он не раз возмущался и предрекал: «Ох, кончится это плохо, кто-нибудь да прибьет эту псину!» Или: «Точно, не выдержит, я тебе обещаю (говорил он жене Марине) – выбросится псина из окна!» И многое другое еще говорил жене. Например, такое:

– Ты понимаешь, больше всего на свете меня удивляет, как этот Тимур Терентьевич никого не боится.

– А кого ему бояться?

– Ну откуда ему знать, что мы нормальные люди? Вдруг мы как раз такие, что он к нам в квартиру, а мы ему гирей по голове? Или, в лучшем случае, пинка под зад!

– Он чувствует. Он за версту чует, какие мы люди.

– Нет, попомни мои слова. Он когда-нибудь нарвется... Он же на машине ездит, а на дорогах молодежь сейчас разбойники. Где какая закавыка, они ему голову оторвут.

– Он прокурор. Он никого не боится.

– Да какой он прокурор? Это он раньше был прокурор. А теперь какой-то там народный заседатель или присяжный поверенный.

– Это одна мафия.

– Нет, в самом деле, меня это поражает. Кругом одни головорезы, ну хотя бы друг друга должны остерегаться (на всякий случай), а они никого не боятся, прут на рожон и всё.

Но рассуждать, предрекать и анализировать – это одно, а жить, когда над головой у тебя то воют, то лают, то стучат по ночам колотушками, то грохочут по утрам каблуками по паркету, совсем другое. И еще до того, как Антон Иванович поменял свое восприятие (ибо, если не можешь чего-то изменить, меняй себя, свое восприятие), еще до того, как он полюбил собачий лай и вой и стал воспринимать их как высокую и глубокую песню души, он решил неожиданное: пойти к соседям самому и познакомиться поближе. Взял бутылку шампанского, спросил у Марины:

– Пойдешь?

– Ни за что!

– Ну, тогда я один.

– Смотри, как бы не вылетел от них, как вот эта пробка от шампанского. – Она ткнула пальцем в пузатую бутылку.

– Все может быть...

Тем не менее Антон Иванович храбро отправился в поход. Тимур Терентьевич, конечно, такого оборота не ожидал:

– Ну, чего надо? – был первый его (и, казалось ему, закономерный) вопрос.

– Пришел поговорить... а вообще, вы знаете, – затараторил Антон Иванович поспешно, чтоб сосед не успел его прервать, – мне собака ваша очень понравилась.

– Врешь!

– Честное слово.

– С каких это пор?

– Да вот я как-то вслушался в ее голос и понял: необыкновенная собака. Честное слово. (С тех пор так и пошло в действительности: он вслушался и, в самом деле, кое-что понял в ее голосе.)

Тимур Терентьевич буравил соседа недоверчивым взглядом, потом снизошел:

– Ну что ж, проходи, учитель.

– Я не учитель.

– Это все равно. Вы все для меня на одну колодку – учителя.

Антон Иванович протянул соседу бутылку шампанского, но не удержался, спросил:

– Почему? Почему учителя?

– Вот так сразу тебе все и расскажи... Тоня, к нам учитель. Накрой там на кухне!

Как будто тень какая-то метнулась из одной комнаты в другую (кажется, она даже кивнула Антону Ивановичу: здравствуйте, мол), но голоса никакого не было.

– Квартиру смотреть будешь?

– Зачем? – удивился Антон Иванович.

– А у людей мода такая: сначала квартиру осматривают, а потом учат как жить: там поставить, тут убрать, здесь передвинуть. Но у меня с этим строго.



– В каком смысле?

– Чего в каком смысле?

– В каком смысле «строго»?

– А в таком, что смотреть нечего. В спальне кровать и тумбочка. В столовой стол и диван. У сына кушетка и компьютер. На кухне холодильник, плита и «уголок». Всё.

– Гм, по-спартански живете, – в самом деле удивился Антон Иванович.

Прошли на кухню; тут, действительно, всё так и было, как обрисовал сосед. За плитой колдовала хозяйка, жарила яичницу. Что заметил Антон Иванович: была она на высоченных каблуках, как говорят, на шпильках-гвоздиках, так что цокот был в самом деле, будто табун по паркету мечется.

– Что-то я забыл, как тебя зовут?

– Антон Иванович, – услужливо (надо же: именно так и отметил он про себя – услужливо) подсказал Антон Иванович.

– Так вот, Тоня, это учитель, а это моя жена Антонина Ивановна, по-простому – Тоня.

Тоня (Антонина Ивановна) обернулась от плиты, улыбнулась Антону Ивановичу. Но какая это была улыбка! Необыкновенная в своем роде: тихая, грустная, с затаённой безуминкой в глубине и горестной покорностью. Такую же затаённую безуминку в глубине, в таких же охро-золотистых глазах заметит со временем Антон Иванович и в глазах собаки Бинго, и это его в самом деле поразит до глубины души: ну,

надо же!

Уселись за столиком (за так называемым «кухонным уголком»), причем Антонина Ивановна, поставив угощение, сразу и вышла, напоследок выслушав распоряжение Тимура Терентьевича:

– Ты Бинго у Митьки запри: чтоб не метался по квартире, не мешал нам.

(Вот так, пока они сидели на кухне, Бинго и лаял, и лаял в комнате их сына, надрывался, бедный, и просился на волю. А Антонину Ивановну вообще не было слышно, будто растворилась она в пространстве квартиры.)

– Я шампанское не пью. Только водку, – показал на запотевшую бутылку «Русской» Тимур Терентьевич. – А ты как хочешь.

– Ну, а я шампанского немного... Мне еще на работу сегодня.

– В школе работаешь?

– Нет, в Департаменте немедленного рецензирования.

– Это одно и то же. Школы, департаменты, колледжи... Расплодилось вас, как драных кошек. Прорыху нет от учителей жизни.

Антон Иванович пил шампанское, хозяин водку. Причем на столе, кроме яичницы, репчатого лука и грубо порезанного черного хлеба, ничего не было.

Тимур Терентьевич пил водку из стакана, но не пьянел, только как бы стеклянел взглядом да грозно хмурился.

– Ты думаешь, учитель, я не знаю, чего ты пришел? Да все вы живете и дрожите, как суслики в своих норах. Распустили вас, как последних тварей, а внутри вы все равно трепещете. Знаю я вас! – погрозил он толстым, с заусеницами, пальцем. – А я прокурор, я военный прокурор, понял? И я жду своего часа, он придет. Посмотрю я тогда, как вы прыгать будете. Такой бардак развели, что вечность не разгребешь. Чего вот ты все ходишь, ноешь, жалуешься, звонишь?

– Да я не жалуюсь. Наоборот. Я хочу, чтобы мы поняли друг друга.

– Поняли! Чего тебя понимать, таракана? Взять и одним ногтем раздавить. Но это я не про тебя лично, учитель, не обижайся. Ты мне становишься любопытен. И боишься – и лезешь. Надо же. Я, может, тебя еще в подмастерья возьму. Посмотрим на тебя, поглядим.

– Какие подмастерья?

– А такие... Когда чистить конюшни начнем, нам всякие людишки понадобятся. И учителя тоже. И вообще разные... Не бойся, со мной не пропадешь, замолвлю за тебя словечко.

– Ну, спасибо, – на всякий случай поблагодарил Антон Иванович.

– А вообще, думаю, нам своими силами не справиться. Как бы инопланетян не пришлось приглашать.

– Вы это серьезно?

– Что сейчас может быть серьезным, учитель? Про инопланетян это я так, конечно, к слову, а вообще... разные нам

нужны будут силы, хоть с других планет бери, чтобы порядок навести. Вот тебе нравится эта жизнь?

– Да как сказать...

– Вот все вы так: мямлите да мычите... Ладно, знаю я, что ты трус, да где вас других взять?

– Не совсем понимаю вас, Тимур Терентьевич. Я ведь не учитель, совсем не учитель, вы ошибаетесь, но дело не в этом: я просто сосед ваш, и мне бы хотелось, чтобы мы понимали друг друга и жили мирно, спокойно и тихо.

– Никогда я тебя не пойму! Не нужен ты мне такой. Вот такой не нужен!

– Какой такой?

– А такой... никакой... вот какой! Тихий да мирный да еще и хитро услужливый. Тьфу на тебя!

– Я на вас не обижаюсь. Знаете почему? Потому что истинного много, и ни одна не истинна до конца. А жизнь одна. Понимаете? Это не истина одна, а жизнь одна, вот в чем соль-то.

– Раскукарекался. Истина. Жизнь. Научились словам. Блудите всё, учителя поганые, а кто порядок наводить будет?

– Порядок порядку рознь, хотя в принципе я с вами согласен.

– С чем именно? С каким принципом конкретно?

– А с тем, что с порядком лучше, чем с беспорядком.

– И это говоришь ты, учитель?

– Я.

– Ты, который развел бардак в этой жизни до самой рас-

последней степени, а теперь еще и жалуешься?

– Я не жалуясь. И бардака я не разводил. Моя специальность, знаете, какая?

– Ну, и какая же?

– Давать оценку происходящему. Только и всего.

Тимур Терентьевич не на шутку вытаращил глаза и вдруг так расхохотался, что пес Бинго (там, в комнате сына) с перепугу даже перестал лаять.

– Давать оценку происходящему! Давать оценку! Да кому она нужна, твоя оценка? Вот твоя жизнь – она нужна для дела. Для дела нужна жизнь человеку, а не для оценки происходящего. Понял, учитель?

В таком роде они долго еще беседовали, наконец Тимур Терентьевич подустал от соседа, сказал:

– Ладно, договоримся так: ты ко мне не приходишь – я тебя не видел, ты не жаловался – я тебя не слышал. В остальном я подумаю о тебе.

– Но в гости-то хоть вас можно пригласить?

– Я в гости не хожу. Запомни это, учитель. А уж если прихожу, то без всякого приглашения. Да, и вот что еще. Тебе не кажется, что жена у тебя полная дура?

– Жена моя, Марина Михайловна, наоборот, большая умница.

– Ну, да это одно и то же. Так вот передай жене: ходила Тонька на каблуках по квартире, ходит и будет ходить.

– Назло, что ли?

– Оказывается, ты сам дурак, учитель! А говоришь, жена умная. Ты хоть знаешь, что такое мечта человека?

– Любой знает, что это такое.

– Любой да не каждый. Ты как раз из них. Есть у человека мечта детства: носить туфли на высоком каблуке. Вот она и носит. И будет носить. Я, учитель, если и уважаю что, так это мечты детства.

– Только детства?

– Только. Потому что в детстве человек настоящий. А вот ты насквозь лживый. И хитрый. Но... – перешел на шепот Тимур Терентьевич.

– Что «но»? – тоже шепотом заговорил Антон Иванович.

– Скажу тебе откровенно: и я такой же! Еще хуже тебя! Хуже, но лучше! Вот такой-сякой-раз-этакий. Понятно тебе, учитель?

– Понятно, но непонятно! – рассмеялся (ишь, осмелел) Антон Иванович, и Тимур Терентьевич одобрил его смех всепонимающей ухмылкой.

На этом они расстались. Но худо ли, бедно знакомство состоялось. И Антон Иванович еще раз убедился в правоте своей мысли: воюй только тогда, когда можно победить. А так живи мирно.

Прежде чем уехать с работы, Елена Михайловна решила один билет «Бинго» передарить Антону Ивановичу. Все-таки сегодня день рождения их Академии; даже трудно пред-

ставить, что когда-то они начинали с крохотного «Отдела по сортировке и стандартизации отзывов», затем было многое другое, в том числе «Департамент немедленного рецензирования», а теперь просто и со вкусом – «Академия рецензирования». И благодаря кому возникло это детище? Конечно, Антону Ивановичу. Вот почему с таким любовным трепетом прикрепила Елена Михайловна на двери шефа золотую табличку:

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  
ГУДБАЙ А.И.

А билета «Бинго» не жалко. Наоборот. Антон Иванович достоин большего, но пусть хоть этот скромный подарок покажет ему, что его в Академии любят и уважают.

Елена Михайловна положила билет «Бинго» шефу на стол, приписав на красивой открытке: *«Антон Иванович! Поздравляем Вас с днем рождения Академии! И с Президентством! А это наш скромный подарок. Обнимаем. Ваши сотрудники».*

Гм, сотрудники... Конечно, можно было бы еще один билет передарить Котову, и Елена Михайловна уже потянулась в сумочку за билетом «Бинго», но тут она вовремя вспомнила, что краля Максима работает, кажется, как раз в этой компании, так что Максим, пожалуй, перебьется и так. Есть у него худенькие ухажерши, пусть они и ублажают его. Правильно? Правильно! – улыбнулась Елена Михайловна.

И в прекрасном настроении она закончила этот рабочий

день и поехала в Вешняки, к подруге Марии Поднебесной.

Скандал назревал постепенно, но в конце концов прорвался, и самое неожиданное для Нины было то, что не Настя, девчонка, а Роман, взрослый сын, восстал против матери. С Ромой у нее были самые нежные, самые доверительные отношения, он всегда и во всем помогал матери, нянчился с Настенкой, когда та была маленькая, водил ее в ясли, в сад, был и за мать, и за отца, и за сиделку, когда она болела, был, можно сказать, самым лучшим, самым близким и доверительным другом матери, и вдруг все пошло наперекосяк:

– Или я, или твой Максим!

Ей казалось, сын ревнует ее к Максиму, но совсем не ревность мучила Романа, а мучили его боль и стыд за мать, мучила та униженность, в которой она пребывала, мучило то двусмысленное положение, на которое обрек ее Максим: ни жена, ни невеста, а так... удобная для утех и развлечений наложница. И как только матери не стыдно, как не больно, как не противно ей собственное положение! И особенно как может она все это делать на глазах у детей, какое имеет моральное право на это, она, их мать, которую они всю жизнь обожали и боготворили?!

– Ты не понимаешь, Рома... ты не понимаешь, – безутешно плакала Нина.

– Я все понимаю! Все! Думаешь, я не вижу, как этот бугай пользуется тобой? Твоей добротой? Нежностью, тепло-



той, заботой? Нашей квартирой наконец?

– Я люблю его. Пойми, я люблю его.

– Да как ты можешь любить его?! Ты посмотри на него. Какой он там язычник, какой идолопоклонник, на нем дрова возить можно, а он ходит кланяться березке: папа, видите ли, ему это завещал. Да ты вдумайся, вслушайся, что он говорит: это бред какой-то, бред сивой кобылы. Ну ладно, я еще могу понять: можно увидеть за этим правду, красоту, истину, добро, но ведь он живет совсем не так, как говорит. Он все врет! Он поучает нас, как жить, меня – как учиться, как быть мужчиной, Настену – как мыть посуду, какой быть будущей матерью, а сам при этом сидит в нашем доме (в чужом для него доме!), пьет вино, закусывает огурчиком, разглагольствует о мировом зле, и все это непонятно в каком качестве – не один, не два, а уже несколько лет, а ночью (извини меня, мама!), как паук, утаскивает тебя в другую комнату и пьет, и пьет из тебя кровь (извини, прости, мама, мамочка, но у нас такое складывается ощущение), и все твои извинительные улыбки, нервность, стыд, угодливость, о, нам стыдно, больно, больно, мама, за тебя, за нас, за человеческую наконец гордость!

Но что она могла объяснить сыну? Все правда, что он говорит, все правда, но как рассказать, как передать ему то, что составляет самую глубину ее страдания, самую заветную и потаённую ее мечту... Ради этой мечты, ради этой выстраданной (и взлелеянной одиночеством и женским отчаянием)

правды она готова была терпеть и терпеть, вот только никак не ожидала, что дети поднимут бунт.

Как понять им, что еще никогда, ни разу в жизни, она, зрелая, красивая, сорокалетняя женщина, не была замужем, никогда не знала и не ведала, что это такое – быть под защитой мужского крыла, никому на свете она не могла и признаться (тем более детям), что хочется, очень хочется, мечтается стать именно *законной женой*, в этом стыдно признаться, восстает все, что есть в женщине женского, но это так: она терпит, да, терпит унижение и боль, терпит двусмысленность своего положения и даже немые укоры детей, но ждет, но надеется – она станет наконец законной женой. Когда-нибудь, но станет...

Но как объяснить это сыну? Это же унижительно объяснять такое! Это должно быть понято как бы само собой, изнутри, интуитивно. Но откуда быть всему этому у детей, рано им еще, рано...

– Нет, ты не понимаешь меня, сынок, – только и повторяла она. – Не понимаешь...

– А хочешь, я докажу, что понимаю? Вот прямо сейчас, здесь, не сходя с места?

– Да как можно доказать такое?

– А вот как. Я женюсь, мама!

– Ты? Женишься? Когда? На ком? Что ты говоришь! – всплеснула руками мать.

– А что, вот именно – женюсь. Невесту мою ты хорошо

знаешь.

– Я – знаю?

– Да, знаешь. Это Наточка из второго подъезда.

– Как Наточка? Она же дитя. Она еще в школе учится.

– Учится. Да. В последнем классе.

– Ты, наверно, шутишь, Рома?

– Не шучу. Она беременна, мама.

– Как беременна?

– А вот так. Как бывают женщины в положении?

– Ты хочешь сказать, что...

– Да, именно это, мама. У нас будет ребенок.

– Но вы сами еще дети...

– Мама, тебе сколько лет было, когда ты родила меня?

Семнадцать?

– Восемнадцать.

– А мне уже двадцать. Наточке – той, правда, восемнадцать будет. Ну и что? Ты же не хочешь, бабушка, чтобы Наточкин ребенок воспитывался без отца?

– О чем ты?

– О том, что ты воспитывала меня одна, без отца. Я даже не знаю, кто он, где живет, чем занимается. Я не знаю, жив ли он. И ты хочешь, чтоб я своему сыну или дочке уготовил такую же судьбу?

– О чем ты?

– О том, что я взрослый, мама. О том, что я люблю тебя. Я не могу и не хочу отдавать тебя в чужие руки на растер-

зание. Я прошу тебя об одном: чтобы ты согласилась, чтобы Наточка жила у нас. Я не хочу оставлять ни ее, ни тебя. Я не хочу быть подлецом, мама, в начале взрослой своей жизни. Ведь ты этому меня учила?

– Ну да, конечно, конечно, – закивала мать головой, и слезы о том, что кончилась, видно, ее собственная женская доля-судьба, а начинается судьба совсем другая, слезы эти обильно полились из ее глаз, делая ее несказанно красивой и торжественно-отрешенной. – Ты прав, сынок, ты действительно вырос. И я горжусь тобой, я горжусь... – И разрыдалась совсем не на шутку, оплакивая и радость свою, и долю свою, разом.

Старая дева Мария Поднебесная в действительности старой девой не была, потому что когда-то давно, лет двадцать пять назад, родила обычную девчонку, и девочка эта выросла как бы сама собой, как лопух, вышла замуж, неудачно, потом еще раз, тоже неудачно, а потом просто запила... И не то что бы Мария Поднебесная не признавала ее, как раз признавала, но только в дальней, прошлой, давно канувшей в туман жизни: она считала свою дочь собственной глубокой прародительницей (такое в наши дни случается).

– То, какие мы есть, – рассуждала Мария Поднебесная, – это только видимость. Мы рождаемся и в будущее, и в прошлое, даже не так: мы рождаемся в вечность, а в вечности совсем другой отсчет времени, и дочка моя – моя прародительница в пятом колене, и она так же в ответе за меня, как

и я за нее. Только ей этого понять не дано.

Дочка Ольга не то что понять, но и видеть, и слышать не могла мать, люто ненавидела ее, считая ее виноватой в своей изломанной судьбе.

Зато любили Марию Поднебесную все подруги ее, все знакомые женщины, любили, обожали и восхищались, считая ее прорицательницей. И прорицательницей не в том смысле, в каком нынче называют множество волшебниц, чародеек и магинов, а совсем в противоположном. Как бы это объяснить? Короче говоря: она не предсказывала, она собирала людей в дальнюю дорогу, в другую жизнь, в другие миры... Нет, не в смерть соборовала, как может показаться, а в жизнь, только за пределами нашей вселенной, в другие измерения, в другие течения времени.

Дома (в коммунальной квартире) она любила ходить нагишом в прозрачном пеньюаре; сосед, Колька-племяш, пялил на нее глаза и бурчал:

– Во, как бутылка в витрине. Близко, а не дотянешься.

«Племяшом» прозвала его тоже Мария, сказав однажды:

– Коля, ты мужичок вообще вне цивилизаций. Значит, будешь просто наш всеобщий «племяш».

– Какой я тебе «племяш», нашла «племяша»! – в первый раз возмутился Колька, потом ему понравилось быть родственником космической женщины, главное – она была не жадная, давала то десятку, то двадцатку на опохмелку.

Другие гости, которых перебивало у нее многое множе-

ство, тоже реагировали на наряд Марии Поднебесной; один математик, мягко-ухмылистый пересмешник Анатолий Кормаков, выразился, например, так:

– Не бутылка в витрине, а пенал в черной дыре.

Но больше других понравилось Марии сравнение поэта-виртуалиста Гарика Осокина:

– Мария, ты сфинкс в заоблачных штанах!

Во всяком сравнении всегда есть что-нибудь ценное и точное, Мария Поднебесная привыкла к сравнениям, но главное знала только она, а именно: она была несравненна.

Елена Михайловна тоже любила Марию Поднебесную, но ждала от нее не космических и потусторонних прорицаний, а житейских, бытовых, близких, поэтому часто Мария с улыбкой предрекала:

– Последняя, кого мы возьмем с собой в иные миры, будешь точно ты, Ленка!

– Но почему, Машенька?

– А потому, что таких дур, как ты, я отродясь не видала! Я тебе толкую о *Больших Информационно-Ноосферных Гравитационных Орбитах*, а ты – о мужиках. Не стыдно, душенька?

Вот и на этот раз в комнате у Марии Поднебесной было настоящее столпотворение; на столах свечи, легкое вино, закуски, а вокруг множество народа (кое-кого Елена Михайловна знала, но большинства нет); какие-то женщины (как и Мария, в пеньюарах, но не на голое тело, а прямо на пла-

тъя или на костюмы), мужчины тоже самой разной масти: от бородатых и хмурых до юрких и бледных, как тень; был даже один индус в пурпурном тюрбане, с черной (с проседью) бородой и отрешенным, как Будда, взглядом. Иногда в комнату заглядывал Колька-племяш, тарашил глаза, ухмылялся, но тут же исчезал по взмаху соседки.

– Запомните, господа, – говорила Мария Поднебесная гипнотически-притягательным голосом, – наступают первые сроки, и кто не сказал еще себе (или своим родным, близким, знакомым, друзьям) твердое «да», тот может опоздать не на годы, не на столетия, не на тысячелетия, а на вечность... Тут главное сказать: да! Верите ли вы, что вы вечны? Конечно, нет! Верите ли, что будете жить после смерти? Конечно, нет! Верите ли в бессмертие души? Конечно, никто не верит! Хотя тысячи лет сотни религий в самых немыслимых формах внушают нам обратное, человек все равно боится ужаса исчезновения, он и хочет поверить, но не может, он и верит и не верит, не может поверить, в глубине своего «я» он вопиёт о жестокости и неотвратимости полного растворения в ничто, и вот мы слышали другие зовы, другие знаки! Ибо если есть вечность, значит есть и бесконечность, и в этой бесконечности есть совершенно другие миры, не наши, не посторонние, но и не потусторонние, а другие, иные, в других измерениях и в других координатах. Там нет жизни нашей, там нет существования в обычном понимании этого слова, но там есть вечность, которая откроется нам в пяти измере-

ниях...

— Почему именно в пяти? — поинтересовался мужчина, похожий на философа, в очках и с бородой.

— Не перебивайте! — тут же возмущенно зашикали на него.

— Вот все мы интересуемся конкретикой, — улыбнулась покровительственно Мария Поднебесная и кокетливо поправила бретельку пеньюара (она была действительно совершенно голой, наша прорицательница). — Конкретика— это конец вечного. Мы все хотим конкретно жить, конкретно не умирать, иметь конкретное бессмертие, мы хотим иметь его, как талон, как билет, как какую-то материальную гарантию, а надо просто знать, не верить, а знать, чувствовать: есть, есть иные миры, и мы это знаем, мы все это предвосхищаем. Прислушайтесь: разве вы не чувствуете, как нашу планету все больше и больше охватывает отчаяние, она сжимается до размеров обычного мяча, ей нечем дышать, ей нечем жить, она охвачена пожаром хамства и одновременно отчаяния-безумия, пожаром сладострастия и самоуничтожения, наша Земля, наша милая прекрасная планета находится на грани полного самоисчезновения, и этому нет сопротивления, никто и ничто не спасет нас от саморазрушения (как бы мы ни заклинали себя!). И вот я услышала голос. Мы все слышим его, но не можем услышать. Нам протягивают руку совсем иные миры, другие, не наши, не наши в человеческом понимании, но другие, которые не хотят полного нашего исчезновения, потому что нас и их объединяет только



одно, но это одно главное: мысль! Там, на *Больших Информационно-Ноосферных Гравитационных Орбитах (БИНГО)* мы будем существовать вечно, но в виде мысли, а не в виде телесного нашего бытования...

– Как же это, в виде мысли? – в который раз перебил Марию Поднебесную пытливый мужчина в очках и с бородой, похожий на философа.

– Именно в виде мысли! Ведь главное, что мы хотим знать в вечности, это знать мыслью: я существую! Если есть мысль, значит есть осознание существования, а разве это не главное в нашем истовом желании бессмертия, именно знать: да, да, я существую! Все остальное – химера! И поэтому, господа, мы должны сказать себе: да! И мы, и наши друзья, и наши знакомые, и наши родные! Те, кто скажет свое «да» сразу, будут перенесены на БИНГО непосредственно в четвертое измерение; кто будет колебаться – тоже могут быть спасены, но окажутся только в первом или во втором или в третьем измерении. Кто скажет «нет» или просто мысленно откажутся от БИНГО, те навеки вечные (во всех своих поколениях) останутся здесь, на такой земной и прекрасной нашей планете, но, увы, обреченной нами же самими на полное исчезновение. А те, кто твердо скажет «да», те попадут в четвертое измерение, а уж затем...

– А почему в четвертое-то, а не сразу в пятое?! – опять все тот же сомневающийся и пытливый голос философа.

– А потому, Иван Иванович, дорогой вы наш Фома неве-

рующий, что пятое измерение еще нужно заслужить! Мы все хотим, как говорится, въехать в рай на чужом горбу, а потрудиться? а попотеть? а доказать, наконец, что вы там, на Больших Орбитах, не чужой, а свой человек, что вы...

– Вот кто там будет свой, так это я, Коля-племяш! – неожиданно хихикнул в дверях сосед Марии Поднебесной. – Я везде и всем «свой»!

В комнате, как ни странно, не зашикали на него, а весело и одобряюще рассмеялись. Чувствовалось: гости устали от такого серьезного и яростного напора философской мысли Марии Поднебесной, и не мешало бы немного выпить и закусить.

– Господа, господа... в самом деле, нужно немного расслабиться... прошу вас! – Мария как бы окинула застолье рукавом-самобранкой (широким рукавом ажурного пеньюара). – Угощайтесь, закусывайте. Всем хватит...

Елена Михайловна подсела к Марии, прошептала виновато:

– Прости, Маруся, опоздала немного, не все слышала. Но здорово как, очень здорово! Только я мало что поняла.

Мария Поднебесная снисходительно улыбнулась и поцеловала Елену Михайловну в лоб:

– Ничего, ничего, подружка. Главное, ответь: ты готова к вечной жизни в виде мысли?

– Я? Я всегда готова! И в виде мысли, и хоть как готова...

– Господа, господа! – постучала Мария тонкой ложечкой

по фарфоровой, расписанной лебедями тарелочке. – У нас появился новый первый кандидат на БИНГО, вот, Елена Михайловна! (Гости радостно и ободряюще захлопали в ладоши.) Прошу всех, кто твердо сказал себе «да», после ужина подойти ко мне и записаться. Мы готовим первый список желающих связать свою судьбу с вечностью. У нас есть знак: первые полеты в четвертое измерение предполагаются во второй половине сентября, в пору бабьего лета, господа!

– Слушай-ка, – чуть позже зашептала Елена Михайловна своей подружке, – а ты не можешь познакомить меня поближе вон с тем индусом?

– Зачем тебе? Опять ты за свое...

– Нет, Мария, я серьезно. Ты посмотри, какой он душка. Как раз для моих сестричек, для моих близняшечек... какой красавчик!

– Опоздала, Леночка. Он улетает в четвертое измерение... так, сейчас посмотрим список... улетает по списку вторым.

– Прекрасно! Ты же сказала, что я первая!

– Это я так, для красного словца. Список большой, а первым улетаешь не ты, а писатель Баженов.

– Георгий Викторович? – обрадовалась Елена. – Надо же!

– Ты и его знаешь? – удивилась Мария Поднебесная.

– Кто же его не знает. Он к нам часто на работу приходит, а сегодня мы с ним договорились: я ему рекламу буду делать. Везде и всюду. Он мне, кстати, три билета «Бинго» подарил.

– Это что, лотерейные билеты?

– Да. Один, правда, пришлось уступить Антону Ивановичу. У нас же праздник сегодня: день рождения Академии.

– Зануда он у тебя, этот Антон Иванович. Недаром такую фамилию носит: Гудбай. Горд и самолюбив очень. Сколько раз я ему про бессмертие мысли твердила – машет только рукой. А вот Баженов – тот другой. Сразу сказал: «Лечу! Готов к бессмертию в любом виде, хоть мыслью, но туда, в вечность!» Кстати, записал к нам всех членов своей семьи. Представляешь?

– Смотри, Маруся, семья у него большая... Сможешь забрать их всех?

Марина Михайловна тосковала. В последние годы она все больше и больше оставалась одна, работать ей Антон Иванович не разрешал, верней, не поддерживал эту ее идею: жена должна быть центром домашнего очага – вот его главная мысль.

Но вот очага-то как раз не было.

Странное дело, у них с Антоном Ивановичем выросли два взрослых сына, но жили они так, как будто каждый находился на другой планете: редко виделись, редко встречались. И это при том, что оба сына были холостые, не обзавелись еще детьми, серьезными заботами и хлопотами.

Ну, как были холостые... Сейчас жизнь странная: никто не женат, а живут тем не менее все парами.

Младший сын, Саша, снимал комнату, работал на рынке и жил с девушкой; вот уж пятый год у них тянется...

Старший Юра вообще нигде не работал, «бомбил» на машине, как говорят нынче; жил в примаках у женщины с ребенком.

А ведь как они поначалу развернулись все вместе! (Они – это мать, Марина Михайловна, и оба сына, Саша с Юрой.) Юра тогда из армии вернулся, Саша школу закончил, Марина Михайловна на заводе под сокращение попала, и вот пришла шальная мысль в голову: организовать триумвират. И организовали. Мать взяла в долг три тысячи долларов (под десять процентов на два месяца) и полетела в Индию, за женскими шерстяными кофтами и мужскими свитерами. Три тысячи долларов – это шесть мешков товара, неделю летала в Дели, неделю ждали «растаможку», а потом началась торговля.

Нельзя было поверить: ровно через десять дней они распродали все шесть мешков. На Тульской это тогда происходило, на каком-то бросовом стадионе.

Вся Москва в те годы гудела рынками да базарами.

Марина Михайловна во второй раз полетела в Индию, купила теперь еще больше товара, восемь мешков (все тех же мужских свитеров и женских кофт да кардиганов), а через полмесяца и этот товар исчез-растворился, как ни бывало. Так что долг Марина Михайловна вернула вовремя (с процентами, конечно), а кроме того по истечении двух месяцев семейный триумвират обзавелся собственным капиталом: ровно в одну тысячу долларов.

...Зимний ядреный московский денек. Ветер, хлесткий и резкий, обжигает щеки, ноги в валенках, руки в варежках, сам в полушубке, но за эти шесть-семь-восемь часов, что стоишь не в укрытии, не в теплом ангаре или магазине, а в обычной полосато-красной или полосато-синей матерчатой палатке, стоишь на улице прямо на снегу, нахваливая товар и зазывая прохожих, за эти часы так околеешь, что дома потом, в тепле, в уюте, долго еще не можешь прийти в себя: ноги ледяные, а по спине мурашки. Каждый день кажется, что это все, последний день в твоей жизни, когда ты решился снова торговать на голом морозе, на рваном ветру. На открытом воздухе. В снегу или пурге, но... наступает утро, и ты покорно не идешь, а бежишь на рынок, к своему товару, потому что каждый день зарабатываешь деньги, живые деньги... А где еще можно было взять их в те годы?

— Подходи, налетай, бабуля, кардиганчик как раз на твои плечики, ляжет — не снимешь! — нахваливает кофты Саша.

— Проходи, проходи, папаша, здесь товар женский! Вот напротив смотри, там мужской, свитера да пуловеры! — показывает Юра на палатку напротив, где стоит-мерзнет-топчется Марина Михайловна.

Вот так они и работали: сыновья торговали в одной палатке женскими кофтами, а Марина Михайловна в палатке напротив, мужскими свитерами. Кто понимает, тот знает секрет: женщины охотней покупают товар у мужчин, а мужчины у женщин.

– Подходи, подходи, бабуля, говорю тебе: вот кардиганчик, как раз с твоего плеча да на твои плечики!

– Да что за кардиганчик такой, сынок? Я и слова такого не слыхала...

– Это, бабуля, последний писк моды. А по-другому сказать: самая нужная вещь в ваши годы. Потому что не просто кофта или жакет, а как вязаный удлиненный халат будет. Наденешь, как на печи себя почувствуешь. Приходилось на русской печи лежать? На лежаночке-то? Ох, там погреться бы сейчас, косточки помять, с боку на бок повалиться... Хорошо бы так-то, а, бабуля?

– Ох, хорошо бы, сынок... да где взять ее нынче, эту русскую печь? Ну-ка, покажи давай мне свой... карди... как говоришь-то?

– Кардиган, бабуля, кардиган!

– Вот его давай... а смотри-ка, правда, какой мягкий, какой теплый, смотри-ка, бабоньки, верно парень говорит.

– Где? что? почему? – И в самом деле начинают подбегать женщины, обращать внимание, щупать да трогать, а Юра – тот в помощь Саше давай еще больше масла в огонь подливать:

– По одной кофте в руки, строго по одной – и в очередь, женщины, в очередь!

Ох, начинают тут толкаться, доказывать, кто первый, а кто еще раньше, а некоторые с ласковым заискиванием просят:

– Уж ты, сынок, две кофты мне продай, сноха-то узнает,

обидится, что не взяла ей. Себе, мол, взяла, а мне пожадничала. Уж ты уважь, уважь, сынок!

— Так, бабоньки, кто невесткам берет, тем особый почет, без очереди.

— Как без очереди? Почему без очереди? Да я первая!

— И я...

— И я...

И вот так весь день... Смотришь, и сам разогрелся, будто на русской печи побывал.

Хорошо у них тогда получалось. Ладно, весело, со вкусом и вкусом. А потом и ребятишки (сыновья) стали летать по заграницам, Марина Михайловна уже подустала, а они вошли в силу. Брали товар по сезону, то куртки и плащи, то платья и блузки, то обувь или дубленки. Летали не только в Индию, но и Китай, Южную Корею, Турцию и даже Сингапур. Завелись у сыновей свои денежки... Хорошо это или плохо? Конечно, хорошо. Но вместе с тем... У Саши появилась девушка; красивая, яркая, добрая и славная девчушка Алена. Она тоже на рынке работала, и вот сняли они комнату... Пять лет вместе, а никак не женятся, и в гости редко приезжают. Отчего так? Аленка, и правда, девчонка смышленная, рынок рынком, а нашла в себе силы, стала заочно учиться в Торговом институте, на менеджера, немного еще осталось, весной диплом защищать, а там и госэкзамены...

Юра... у того другая история. Когда они с Сашей деньги поделили, он стал работать в паре с одной взрослой женщи-



ной, Тamarой Семеновной. Легче им так было, проще, удобней. Потом он машину купил, а после дефолта и рынок забросил. А уж дальше так получилось (неизвестно как), что стал Юра все реже ночевать дома, все у Тamarы Семеновны да у Тamarы Семеновны. И, главное, ни разу эту Тamarу Семеновну никто в глаза не видел. Юра как бы стеснялся, что ли, познакомить родителей с ней, а, может, она сама этого не хотела. Но главное, у Тamarы Семеновны, кроме однокомнатной квартиры на Автозаводской, был еще сын тринадцатилетний, который жил, правда, не с ней, а с бабушкой в Подмоскoвье, в Мытищах.

Антон Иванович – тот ничего, совершенно спокойно относился к тому, как развернулась их необычная семейная сага. А, может, это только казалось. Во всяком случае, говорил он примерно вот что: живут они самостоятельно? Самостоятельно. Не жалуются, не хнычут? Не жалуются. Нас не позорят? Нет, конечно. Ну и слава Богу! Жаль, разумеется, что нигде не учатся, но сейчас время такое, что не ученых жалуют, а умных. А вот умные ли они – жизнь покажет.

Нет, были, были, конечно, у Антона Ивановича свои мысли насчет сыновей, но он их скрывал от Марины Михайловны. Она чувствовала это.

А вот ей скрывать было нечего. Без детей, без заботы о сыновьях, без тревоги за них жизнь ее как бы обессмыслилась, стала пресной и нудной. После дефолта она тоже забросила всякую торговлю (не имело смысла: горбатишься за троих, а

доходы с гулькин нос), вот так и сидела дома одна, мучилась да тосковала.

И больше всего на свете мечталось ей об одном: как бы так случилось, чтобы в доме у них появилась маленькая-маленькая девочка. Откуда, как, почему... непонятно. Но чтобы именно девочка, не сыновья, не парни, не мужички, которые рано или поздно уходят из твоей жизни, а именно девочка. Марина Михайловна согласна была (в глубине души) даже завести дочку (но как скажешь такое Антону Ивановичу? на старости-то лет? ведь в обморок упадет), ну, если не дочку, то внучку, маленькую, крошечную, милую, забавную и любимую. Любимую...

Митя в очередной (в который уже) раз поругался с отцом. Верней, он не ругался, это отец кричал и бесновался, а Митя просто захлопнул перед его носом дверь.

– Что закрываешься? Что прячешься? Чего мать пугаешь, гаденыш? – стучал в дверь Тимур Терентьевич. – А ну, выходи, выходи, я тебе говорю. Если ты такой смелый и отчаянный – выходи!

Но Митя не открывал, он отрешенно стоял, прислонясь к двери спиной, и слезы сами собой текли по его щекам. Как он ненавидел отца! Как он ненавидел его крик, шум, его уверенность и самоуверенность, его грубые и беспощадные словечки, его неистовость и хвастовство знанием жизни.

Тимур Терентьевич и в самом деле не переносил совре-

менную молодежь, всю эту молодую шпану, эту компьютерную поросль, которые, как бараны, тусуются на каком-нибудь одном пяточке, тупо перемалывают, как жвачку, жаргонные и пустые свои словечки, самовозвышаясь какой-то придуманной ими самими избранностью и особостью: им ничего не надо, они такие как есть, и оставьте их всех в покое...

Оставьте их всех в покое! А кто будет спасать государство, кто будет работать, кто будет наводить порядок, кто, наконец, продолжит дело отцов и дедов?!

На все на это одни усмешечки и улыбочки, один молодой и грубый гогот, одна общая кривая татарская ухмылка: говори, говори, батя, тренируй голосовые связки, сам проморгал (здесь, правда, словечко погрубей) государство, а мы теперь за все отвечаю, да это ты, ты, папаша, нам ничего не оставил, это ты нас бросил на произвол судьбы, это из-за тебя мы тут кучкуемся и знать не знаем, что делать, чтобы понравиться тебе, а если честно: плевать нам на тебя, как и тебе на нас, плевать, потому что ты ископаемое, монстр, ты отжил свое, ты пожил всласть, покомандовал, а нам ничего не оставил, нам не досталось и капли того, что было у тебя, и к нам же еще претензии? к нам же еще вопрос? Пошел вон, папаша, пока мы тебе не накостыляли!

И гоготали, гоготали, подонки... (Так именно, внутренне, чувствовал этот разговор Тимур Терентьевич.)

Многое, наверное, было правдой в их словах, но все-та-

ки... Но все-таки главное было другое: они не знали его, он не знал их, и оставалось только вот это – рычать и рычать друг на друга, показывать в оскале зубы.

– Открывай, открывай, я тебе говорю! – продолжал в неистовстве стучать в дверь сына Тимур Терентьевич. – Сколько ты будешь мать мучить, гаденыш? Сколько будешь строить из себя какого-нибудь там Онегина или Печорина? Да вы «Квазимодо» все, бараны и олухи, на вас воду возить надо, а вы все гамбургеры да пиццу жрете, иностранные прикормыши, зарубежные подпевалы!

Сын не отвечал, крепился, молчал, только слезы текли и текли по его щекам.

– Открывай, слышишь! Что ты все мать стращаешь, что ты все пугаешь ее? Мужик ты наконец или тряпка? Открывай!

Но сын и не собирался открывать. Если бы была возможность, он бы вообще жил так, как будто его совсем не существует, ему не хотелось говорить отцу ровно ни одного слова: ни плохого, ни хорошего, лучше просто молчать, ничего не говорить, и когда это удастся, как хорошо и полно и без всякой тоски ему живется. Это странно, но это так: когда Митя подолгу молчит, ему спокойно и совсем не одиноко, но это дома, а когда он с друзьями, он говорит без умолку, говорит все, что только в голову взбредет, и там не различают ни ума, ни глупости, там все в кайф, там клёво и всё по барабану, то есть никому никакого дела, чем по-настоящему ты живешь (если живешь), никто не лезет в душу, ни о чем не

спрашивает и ничем не интересуется, сто раз встречаешься, а не знаешь, кто где учится и кто чем занимается, может, это и важно, но это не главное, просто ты это ты, и всё, и ты тусуешься, а не отчитываешься за свою жизнь и не комплексуешь, и от этого всем легко, отсюда и братство, пусть легкое, ничего не значащее, но братство и сиюминутное понимание. А дома... ну да, он много раз говорил матери (признавался зачем-то, дурак), что не то что не хочется ему жить, а так... просто... не знает, зачем и для чего жить.

– Но как же, сынок, – пугалась мать, – о чем ты говоришь, разве так можно? Жизнь – это дар, надо просто радоваться. Вот я радуюсь, что ты у меня есть, что есть солнце, что у меня была мама, и потом, когда сделаешь что-то хорошее, тоже на душе светло...

– Но как ты могла выйти замуж за такого... идиота, как мой отец?

– Сынок, что ты говоришь, разве можно так? – еще больше пугалась Антонина Ивановна. – Он просто человек такой – прямой, неугомонный. И все время наше другое было... Ты должен понять... ты должен войти в наше положение.

– Я его ненавижу!

– Нельзя отца ненавидеть, что ты... Это грех. Он переживает за тебя, он резкий, не понимает вас, молодежь... Я вот недавно передачу смотрела, там Владимир Смуруженков выступал, известный художник, он сказал: молодежь не хуже и не лучше сейчас, чем была, она такая, какая есть, вот и всё,

но миссию свою она выполнит.

– «Миссию»... Нет у нас никакой миссии. Если бы не ты, я бы давно с балкона прыгнул... Знаешь, мам, так иной раз хочется умереть.

– Что ты, что ты говоришь!

– Нет, я не назло, просто сам не знаю... Мне уже девятнадцать, а толку от меня никакого. Я ничего не умею, ничего не знаю, ни к чему не гожусь... что это за жизнь?

– Обычная жизнь. Ты молод, учишься, что еще надо? Не пугай ты меня, Митенька! Что за мысли у тебя?

– Но зачем ты отцу про это рассказываешь?

– Разве? Не знаю... так, к слову. Чтоб он помягче с тобой был, чтоб не кричал... не бесновался.

– Вот он и выдумал, что я запугиваю вас... что добиваюсь этим от вас, чего захочу. А чего я добиваюсь?

– Да ничего ты не добиваешься. Просто, знаешь, жизнь так устроена: мы, взрослые люди, очень быстро забываем, какие мы сами когда-то были. А мы были такие же.

– Мне как-то не верится, что отец молодым был. Он просто дурак набитый. Только бы орать да кричать.

– Что ты, что ты, сынок...

– Помнишь, ты мне рассказывала, у тебя в детстве котенок был. Пушистый такой, серебрился на свету. Как мне тоже хотелось котенка всегда! А отец запретил.

– Но мы же купили тебе щенка. Тоже такой хорошенький, помнишь, такой забавный, все тявкал и тявкал на те-

бя... умора!

– Ну да, Бинго... Но Бинго – это другое. И потом, какой же он забавный? Взял и выбросился из окна. Я уверен, от тоски выпрыгнул. Замордовали мы его.

– Да что ты, как замордовали? Это просто несчастный случай. Не бывает такого, чтобы собаки из окна прыгали.

– А у нас произошло. Вот котенок, тот бы такого не сделал.

– Ну о чем ты говоришь, Митенька... выкинь ты все это из головы!

...А отец все бесновался и бесновался за дверью, все кричал:

– Ты думаешь, я не знаю твою политику! Застращал мать, запугал до смерти, вот она и стелется перед тобой: Митенька да Митенька! Все тебе как на блюдечке: и компьютер твой, и...

«И еще что?» – злорадно усмехнулся Митя за дверью. Он и сам не особенно любил вещи, но такого, как у них в квартире, еще не встречал ни у кого: в спальне у родителей кровать да тумбочка, в столовой стол и диван, на кухне холодильник и «уголок», ну а у него, Мити, компьютер и кушетка.

– ...и компьютер твой, и... – тут отец наконец вспомнил: – и кушетка! А благодарности никакой! Ты смотри у меня, я в конце концов доберусь до тебя. В чернорабочие пойдешь, мясо рубить, чемоданы на вокзале таскать, глину на стройке месить.

«Пойду, пойду, как же...»

– Тебе чего не хватает, чего конкретно мало и плохо? Если тебе в армию хочется, я тебе это быстро могу устроить. Или в стройбат.

«Есть еще и такой, оказывается?» – все усмехался Митя. (Плакать он давно перестал.)

– А если стройбат не по душе, можно в Чечню или еще черт знает какие дебри! Только скажи, намеки, чего ты конкретно хочешь!

«Вот черт-то точно знает, чего да куда... А вот куда бы тебя самого послать?» – думал уже как-то отрешенно, машинально, что ли, Митя.

Он подошел к окну, открыл раму и встал на подоконник...  
...Когда мы умираем, нам все кажется, что это не серьезно, не вполне до конца и навсегда, мы как бы надеемся еще взглянуть на себя да и на все последующее со стороны, посмотреть, какое это на всех произведет впечатление: вот, мол, спохватятся все, пожалеют еще, локти будут кусать, плакать и рыдать... Что-то все театральное представляется и жалостливое, но главное, конечно, будто смотришь на себя со стороны, отрешенно и отстранённо, и не понимаешь до конца, не осознаешь: это все навсегда, навеки, до скончания веков, до крошечной и беспросветной глубины времени.

А Митя... Что Митя! Этот мальчик, делая то, что сделал, совсем не догадывался, что он никому ничего не докажет. Просто его не будет – и всё. А другая жизнь будет продолжаться как ни в чем не бывало. Нужно просто преодо-



леть этот возраст, это искушение, эту тягу к смерти, потому что в действительности не к смерти это тяга, а к самоутверждению, к тому, чтобы с тобой считались, признавали в тебе личность, уважали и любили тебя такого, какой ты есть, именно такого: пока никчемного и, казалось бы, никому не нужного, но... но в глубине-то души каждый знает: в нем дремлют немалые силы!

...Была одна ошибка у Антонины Ивановны, была. Сколько раз она слышала от умных людей: если есть у кого тяга к смерти, того надо обязательно сводить на чужие похороны. Как увидишь другого человека в гробу, мертвого, страшного, бездыханного, мертвого-то без шуток и без прикрас, так сразу все мысли о смерти пропадут.

Чужая-то смерть – она враз отрезвляет!

Пересекая не совсем даже и поздним вечером небольшой сквер, не по тротуару, а так, наискосок, по траве-мураве, Антон Иванович машинально отметил про себя, что около одного куста словно светятся несколько огоньков, что-то такое странно-привлекательное и любопытное. Но, сделав два-три шага вперед, Антон Иванович почувствовал некоторую тревогу, а еще через несколько шагов настоящий страх. Он невольно оглянулся, но было поздно. Сзади него, как бы замкнув дугу, сидело несколько бродячих псов, три или четыре, сразу не осознаешь. Зато то, что путь назад отрезан, осознаешь сразу, но ведь и впереди тебя, там, куда ты шел, то-

же горят две пары глаз (видать, жоака), — куда тут деваться? Бывают в жизни моменты, когда от растерянности, что бы ни делал, все невпопад; может, и Антон Иванович принял неправильное решение: бросился наутек, как бы поближе к кусту (то ли спрятаться в нем, то ли защититься от нападения), а из куста именно, как раз из засады, и набросилась на него первая псина. И так это было неожиданно для Антона Ивановича, что он замер на секунду как вкопанный, а потом, сбитый прямым ударом могучих лап в грудь, полетел от куста в сторону, на середину сквера. (Может, в дальнейшем, это и спасло его, что полетел на середину сквера.) Упав навзничь, он почувствовал, как крепкие яростные зубы, будто несколько острых шил, вонзились в правую икру, и еще он почувствовал, верней, осознал, понял, мгновенно уяснил, внезапно пронзился мыслью, что если он сейчас каким угодно способом не окажется на ногах, ему конец. Потому что рядом с ним и вокруг него уже клацали зубами другие псы, такие же свирепые и кровожадные, как тот, первый, который хватанул его за икру. Жуткий, животное-отчаянный крик, даже не крик, а рык, издал неожиданно Антон Иванович и, крутанувшись на траве, как волчок, вскочил на ноги, как будто подброшенный вверх мощной спасительной пружиной. На секунду собаки растерялись, замерли в оторопи, и именно этого мгновения хватило Антону Ивановичу, чтобы нанести первый и мощный удар по укусившему его псу. Он знал, он знал, Антон Иванович, что именно этого пса, кото-

рый его хватанул за икру, он и бьет сейчас по загривку той спасительной тростью, которую подарил ему недавно Виталий Капитонов и которая всегда теперь находилась при нем, куда бы он ни пошел.

Тот пес, которого Антон Иванович огрел тростью по загривку, этот пес повалился наземь и устрашающе скалил зубы, а остальные начали сужать кольцо вокруг Антона Ивановича, угрожающе рыча и брызжа слюной. Антон Иванович вновь как волчок крутанулся на месте и, вращаясь, бил всех собак подряд, какие попадались под трость; но по-настоящему никого не задел, только грозно припугнул их, и они, показывая в оскале клыки, отступили на прыжок-на два от своего врага. И собрату их тут же досталось: в упоении, в каком-то неистовстве и злобе Антон Иванович начал бить и бить эту псину заостренной тростью по голове, туловищу, лапам, куда ни попало, и чувствовал все больший и больший сладострастный ужас, что так жестоко расправляется с диким зверем.

Сквер этот, а вернее, лужайка, на которой творилась кровавая драма, был всего в нескольких метрах от автобусной остановки (да и огромный жилой дом в двенадцать этажей тоже горел всеми своими теплыми и яркими окнами как раз напротив сквера), и, разумеется, многие люди видели и слышали, что творится рядом, но никто не решился ни помочь Антону Ивановичу, ни остановить его, как не решились защитить и собак или, наоборот, разогнать их какой-нибудь

палкой.

Но уж когда Антон Иванович начал насмерть забивать бродячую псину, при этом победно разогнав ее сородичей все более и более меткими и ожесточенными ударами (собаки-то, оказывается, отметил про себя с удивлением Антон Иванович, бросают своих собратьев, когда им грозит истовый и жестокий отпор), когда он забивал насмерть эту укусившую его тварь, и когда действительно забил ее, и когда для верности, словно находясь в гипнотической эйфории, бил ее и бил уже после того, как она замертво уронила окровавленную пасть на перебитые лапы, вот тут граждане и окружили Антона Ивановича, и говорил каждый кто во что горазд: кто ругал Антона Ивановича, кто хвалил, кто восхищался его смелостью, кто возмущался его жестокостью. Только один, здравого ума мужчина с бородкой клинышком (на вид профессор), посоветовал Антону Ивановичу:

– Тут же в клинику, срочно! Блокаду против бешенства...

– Что? – неожиданно зарычал Антон Иванович. – В клинику их? Да я вас сейчас самого в клинику! (Отчего и почему, но Антону Ивановичу в этом разумном совете послышались некие нотки в защиту собак, скорее всего он был просто на грани безумия или безумного упоения своей победой.) Я вам покажу сейчас...

– Да он ненормальный! – бросил кто-то испуганно. – Посмотрите, он сейчас бросаться на нас будет. Мужчина, оставьте бедное животное в покое. Вы в своем уме или нет?

– Я-то?! – закричал Антон Иванович. – Я-то в своем, а вот вы чего тут собрались? Человека чуть насмерть не загрызли, а вам все спектакль!

– Таких загрызешь, – бросила какая-то старушка. – Ничего человеческого не осталось... Скоро всех животных загубим.

Но кто-то из толпы ей резонно возразил:

– Не животных загубим, а скоро они нас, бродячие-то, сожрут с потрохами. Не Москва, а дикие прерии какие-то.

– Вот-вот, наступило время: бросаемся друг на друга, а потом локти кусать будем!

...Ну, все эти разговоры известны, их можно слушать-не переслушать. Любопытно, пожалуй, только одно замечание, сделанное все той же старушкой:

– Как вам не стыдно, мужчина, загубили живое существо, теперь какая же вам будет дорога в рай?

Но в защиту Антона Ивановича вступился местный «философ» дядя Вася (его тут все знали, в этом районе от Абрамцевской улицы до Алтуфьевки):

– В рай-то мы все враз попадем. Как только в аду окажемся... Косточки на огне погреем.

...Дома Марина Михайловна пришла в ужас, увидев Антона Ивановича; даже и слушать ничего не стала, усадила его в такси и повезла в травмопункт. Там Антону Ивановичу тщательно промыли рану (одиннадцать серьезных прокусов!), а потом еще сделали блокаду из двадцати четырех уко-

ЛОВ.

...И только когда Антон Иванович оказался в постели (ближе к полуночи), когда Марина Михайловна укутала его в теплое, верблюжьей шерсти одеяло, только тогда Марина Михайловна заметила: в прихожей, в углу, бесхозно валяется трость Антона Ивановича, которой он так дорожил и с которой в последнее время практически не расставался. Но дело даже не в этом. Трость, эта изящная, ручной работы инкрустированная вещь-игрушка, была вся в крови и в клочьях собачьей шерсти. Марина Михайловна отнесла ее в ванную и там тщательно, с мылом промыла, и так же тщательно, насухо протерла байковой тряпкой. И вот, протирая ее, она впервые заметила, что на рукоятке трости просматривается, оказывается, какая-то вязь букв. Что-то там такое написано мелкими-мелкими иностранными буквами. Приглядевшись внимательней, Марина Михайловна разобрала латинскую надпись: *Hotel BINGO*. «Что за чертовщина, какой отель?» – удивилась Марина Михайловна и направилась в комнату к Антону Ивановичу. Он начинал уже засыпать, но все-таки еще можно было у него спросить:

- Антоша, ты знаешь, а у тебя на трости какая-то надпись.
- Какая надпись? – не понял Антон Иванович.
- Не знаю. *Hotel BINGO*.
- Да неужто? – удивленно встрепенулся Антон Иванович. – Где? Покажи! Ой... – вдруг застонал он от боли (раны давали о себе знать).

– Лежи, лежи, тихо... Вот, смотри, – показала она.

– И правда, – прошептал Антон Иванович. – Ну надо же, а я ни разу не обратил внимания. Какие мы все, оказывается, неприметливые люди.

– А что это, отель «Бинго»?

– Да это Капитонов Виталий, помнишь, я тебе рассказывал, в Испанию уехал. Он там отель себе купил.

– Вон что.

– Уехал, а мне трость подарил. Я-то все думал: что за трость, откуда она у него? А, оказывается, вон откуда: из отеля. Ну, спасибо, друг, спасла меня твоя трость.

– Надо же, и собаку наверху звали Бинго. Которая из окна выбросилась.

– Марина, ну что за глупости? Я тебе говорил: просто несчастный случай... и все, – поморщился, как от боли, Антон Иванович.

– Несчастный-то несчастный, а все-таки странно как-то... – Но развивать свою мысль Марина Михайловна не стала, и вскоре Антон Иванович мирно и тихо спал. Как ребенок.

## Часть третья

### Где – везде – нигде

Они приехали в этот небольшой уральский поселок ранним осенним утром. Никто их, конечно, не встречал, да и нужды в том не было: к дому от станции они шли пешком не более пяти минут. Дом стоял на взгорке, на веселом открытом месте, и как раз, когда они подходили к дому, выглянуло с востока первое солнце, и окна в доме сами собой зажглись нежным малиновым светом. У калитки, показалось им, кто-то как будто стоял, но, когда они подошли поближе, увидели нечто вроде идолища, протягивающего навстречу руки. Идолище – звучит грубовато, на самом деле это был веселый деревянный человек-гном, вырубленный из высокого пня искусным плотницким топором. Искусным потому, что взмахи топора, чувствовалось, были резкими, грубыми, но очень точными, разовыми (по слову «раз и навсегда»). На калитке, тоже на деревянной доске, выдолблено старинной вязью:

Биологический  
Институт  
Народной  
Гуманной  
Ортопедии

А чуть ниже, помельче: *«имени В. В. Котова».*



Это и был отец Максима, и вот так сегодня он их встречал.

Мартемьяна Фирсовна, хранительница отцовского очага, вышла на крыльцо, когда они уже звякнули кольцом калитки, старенькая, сгорбленная, подслеповатая, с клюшкой в руке, но однако неплохо шустрая и проворная.

– Надо же, вылитый Владимир Викентьевич! – всплеснула она руками, когда увидела Максима. – То-то мне сон снился...

Давно они переписывались, договаривались, что Максим приедет к отцу в гости, пусть не к живому теперь, но все-таки... И вот он взял и приехал, да не один, а, кажется, со своей суженой...

Конечно, ничего от Института в этом доме не чувствовалось, наоборот, какое-то чересчур захламленное, ветхое двухэтажное строение (с покосившейся деревянной лестницей), сплошь заставленное и заваленное старьем и безделушками, среди которых, правда, выделялись то тут, то там деревянные поделки, главным образом, человеки и человечки.

– Отец-то считал, Владимир Викентьевич, что главное в лечении – это душу лечить, – говорила и говорила Мартемьяна Фирсовна, накрывая потихоньку на стол (Нина ей помогала, конечно). – Он хирург был, да, а лечил душу. *«Ортопедия как инструмент воскресения души»* – вон у него рукопись такая лежит, да никто что-то не печатает ее. Никому теперь ничего не надо. А народ к нам ходит, ой, ходит... Верующие,

те покрестят идолище и заходят, а неверующие встанут перед ним на колени, потом тоже идут. Народ-то дикий, ой, дикий, и такой, и сякой, и разэтакий (всякий), а Владимир Викентьевич жалел всех, говорил: «Ногу или руку хочешь вылечить? Сначала к биожизни обрати взор... (так и говорил: «к биожизни»)... там она, твоя душа, в солнце, в лесе, в траве да в воде... поклонись существу, а уж я тебе помогу по-своему!» Шел и шел к нему народ, и ноги сломанные, и руки, и позвоночник, и головы пробитые, он как-то чудно всех вылечивал, сам не знал как. Прикоснется только – и человек как бы здоров делался. Одно слово: язычники мы.

– Вот и Максим, – вставила словцо Нина, – он тоже язычник.

– Язычник? – ухмыльнулась старуха. – Язычник будешь, когда отцово дело продолжишь. Я-то гиблая стала, скоро помру; кто охранять отцово богатство будет? Охранять да множить?

...Три дня Максим с Ниной пробыли в поселке. Люди перед Максимом (кто в Институт приходил) на колени падали, так что ему как-то не по себе становилось, а Нина ничего, быстро в соображение вошла, помогала старикам да старушкам на ноги вставать, слова разные приговаривала, ласкала да тешила: «Вы не к нам, вы к биожизни взор обратите. Помните, как Владимир-то Викентьевич говорил? Не мне, мол, а солнцу, лесу, воде поклонитесь...»

Молодых, правда, не встречалось среди проходящих, а

пожилых да старых – тех много. А когда Максим захотел к отцу на могилу сходить, Мартемьяна Фирсовна удивилась даже:

– На могилу? Так нет у него могилы.

– Как это? – не понял Максим.

– А он, Владимир Викентьевич, как почувствовал: смерть надвигается, ушел куда-то и больше не вернулся. Ушел во-о-он в тот лесок, – показала она в окошко, – потом, видела я, на взгорке он еще появился, с посохом был, я его издалека узнала, потом как раз солнце зашло за Медвяную гору, он и растворился в лучах, Владимир Викентьевич... Во всяком случае, я его больше не видала. И никто не видел.

– И могилы, выходит, нет? – будто в страхе каком-то приложила Нина ладони к губам.

– Зачем ему могила? Нам, язычникам, участникам био-жизни и вечным ученикам Народного Института имени Котова, нам ни могилы, ни смерть не нужны. Поклонился бере-зе или солнцу, рассвету или бегущей воде – того достаточно. Живи вечно и не умирай никогда.

– А сами говорите, помрете скоро, – и глупо вроде, а все же наивно-чисто укорила Нина.

– Это я в жизни помру. Точно. А в вечности я всегда буду жить. И ты. И он. Все мы.

– Никогда не умрем?

– Вот коза-то у тебя, – усмехнулась Мартемьяна Фирсов-на. – Конечно, никогда. Разве мыслимо жить, чтоб знать:

умрешь? Живи и никогда не умирай. Так всегда говорил Владимир Викентьевич. Вон у него еще одна рукопись лежит: «*Смерть как форма вечной жизни биосистемы*». Тоже что-то никто не интересуется. Не печатают. Никому ничего не надо стало...

Да, и рукописей, конечно, много разных было у Владимира Викентьевича, и каких-то папок с рецептами и засушенными травами; в чуланах и чуланчиках, от потолка до низа, забитые кореньями полки с приполочками, а больше всего резные, долблёные, выпиленные, выструганные веселые жизнерадостные человечки-деревяшки.

– Мастеровой был хозяин-то, ох, мастеровой, – все показывала Мартемьяна Фирсовна. – А видать, всему свой век. Это не биосистема, которая как вечность. Рукотворному да рукодельному подпитка нужна. Как думаешь, Максимушка?

«Ну, как ты думаешь, что думаешь?» – шептала ему по ночам и Нина. Она, когда он позвал ее поехать сюда, с радостью согласилась, потому что дома скандал и одни недоумения, да и доказать сыну Роме хотелось, что Максим вовсе не такой человек, как он о нем думает, а больше всего просто отвлечься, отстраниться от московской жизни надо было, подумать, взвесить все, поразмышлять... вот она и помчалась с Максимом в далекую даль, надеясь, конечно, что и между ними, возможно, определится что-то серьезное и важное.

А Максим не знал, что и сказать. С одной стороны... Но

с другой стороны... Да, нужно подумать серьезно, взвесить все, проанализировать.

– Как же с Академией-то быть? С работой? – спрашивал он.

– С какой Академией? Да Академия ваша – плюнуть и растереть. Ты себе здесь сделаешь Академию. Сейчас биоинститут, а ты назовешь Био-академия. Представляешь?

– А деньги где брать? Мне до пенсии еще работать и работать.

– Без пенсии проживем. Представляешь, будем здесь жить одни. Настёну я, конечно, заберу с собой, а Рома там останется, с женой, с ребеночком (у них скоро родится девочка, к примеру, ой, представляешь, я буду бабушкой, умора!), и очень даже хорошо получится: мы здесь, они там.

– Так ты Настёну сюда хочешь забрать?

– А куда же она денется? Ей всего тринадцать...

«Живи потом с этой врединой здесь», – невольно подумалось Максиму.

– А ты что, против? – спросила она у Максима напрямую.

– Ну как я могу быть против, что ты? – ответил он, а про себя подумал: «Своих детей ты, значит, пристроила, а как быть с моим сыном?» (У Максима был взрослый сын, лейтенант, служил рядом с Москвой; прописан он был у отца, почти каждые выходные приезжал домой, значит, надо будет и сына, и квартиру бросать на произвол судьбы?)

– Но ты же сам звал меня сюда? Говорил: мечта всей тво-

ей жизни! Обещал: если решусь поехать сюда навсегда, поженимся и все такое... Ты что, забыл?

Он не забыл, он говорил, но, если честно, он всегда это говорил, зная наперед, что Нина ни за что не согласится. Он был уверен в этом на двести процентов, потому что как же она бросит Москву, детей, работу, квартиру?!

А она, оказывается, вон как распорядилась: Рома ее там, Настёна здесь, а мы тут кукуй. Ловко получилось.

Но с другой стороны – здесь отец, его родина, его дело. Хотелось, конечно (не только хотелось – мечталось), что Максим обязательно приедет сюда, будет здесь жить, работать, продолжать начатое отцом, но... не так быстро, не так сразу, как бы в будущем, что ли, чуть позже, потом...

«Потом будет суп с котом», – вспомнил Максим, как любил приговаривать писатель Баженов, который частенько приходил к ним в Академию (за рецензиями) и вот все выспрашивал, визнавал житейские истории – сюжеты, наверное, собирал.

Так вот однажды писатель узнал у Максима, что у того есть отец, которого он никогда не видел, и отец этот в то время был еще жив.

– Поезжай, съезди к нему, пока не поздно, – говорил Баженов.

– Не могу.

– Не понимаю, – удивлялся писатель. – У мужика отец есть, а он увидеть его не хочет. Дурак ты, Максим Владими-

рович!

– Не могу.

– Заладил, как попугай: не могу, не могу... Смотри, поздно будет.

Как мог объяснить Максим, хотя бы даже и писателю Баженову, что нельзя ему ехать к отцу: родная мать не простит Максиму этого, она ни видеть, ни слышать, ни знать ничего не хотела про бывшего мужа. Как так: ее бросили с младенцем на руках, она ребенка вынянчила, вырастила, выходила, годы и годы, жизнь на него потратила, а теперь сыночек вырос и отблагодарил мать: поеду к отцу... Нельзя этого делать, нельзя!

– Неизвестно еще, кто кого бросил, – говорил Баженов. – Даже если и так, все равно поезжай, подумай: как отец обрадуется, увидев тебя. Как слезы у него потекут по щекам: сын приехал! Дурак ты, ей-богу, дурак.

– Не могу.

А потом отец умер, и мать передала Максиму письмо для него от отца – то ли из прошлого, то ли из будущего... Много что узнал Максим о себе и об отце из этого письма. Но самое страшное было другое: когда мать умерла (странно, но Максим как-то легко пережил смерть матери – может, потому, что она не была язычницей и идолопоклонницей?), выяснилось, что не отец бросил ее с ребенком, а она изменила ему. Она загуляла с директором «Большого Урала» в Свердловске (был такой ресторан), и отец не выдержал,

уехал в далекий уральский поселок Нижние Дворики... Вот этого больше всего и боялась мать: что сын узнает настоящую правду.

— Говорил я тебе, что ты дурак! — подытожил писатель Баженов. — Так и оказалось. Все надо делать вовремя, друг мой, во вре мя.

Хорошо болтать языком, особенно если ты писатель: тебя это никаким боком не касается, а судить да рядить ты почему-то вправе. Неплохо устроились писатели!

...И вот теперь: что мог Максим ответить Нине?

Да и кроме того, положив руку на сердце, пугала его немного эта заполошная и странная старуха Мартемьяна Фирсовна. В письмах — это одно, а в жизни с ней общаться — совсем другое. Ведь придется жить одним семейством, в одном доме, — тоже не сахар. Да и так, по каким-то неприметным деталям и черточкам, Максим догадался: не совсем свят был отец Владимир Викентьевич Котов, а жил в каком-никаком браке с этой старухой, пусть она тогда не старуха была, но все же...

Как-то стыдно перед памятью матери жить бок о бок с отцовской пассивностью.

Да и вообще... пока... как бы это... страшновато... рановато...

Так что же ответить Нине?!

А в это время попугай Бинго, тоже на Урале, но совсем



в другом поселке, в поселке Северный, суматошно и настойчиво кричал:

– Я знаю, где золото лежит! Я знаю, где золото лежит!

Антон Иванович от души смеялся: «Какой болтливый! Все тайны ваши выдаст».

Но дядя Костя с тетей Верой Капитоновы и в самом деле заверили Антона Ивановича:

– Он действительно знает, где золото лежит. Он нам его показал...

– Как это? – не понял Антон Иванович.

– А вот пойдем-ка, Антоша, во двор.

Они вывели его из дома и повели к сараю, где столько лет подряд, в детстве, играли в прятки друзья Виташи Капитонова. Ах, какое было время, как оно далеко и как близко... По времени далеко, а вот руку протяни, погладь вот эти шершавые выгоревшие доски, проведи рукой по их даже и нынешнему прокалённому теплу – покажется, все было совсем недавно, только что, час или два назад...

– Вот видишь, собачья будка?

– Ну как же... сколько лет у вас там жил этот... как его...

– Динго!

– Точно! «Дикая собака Динго», еще книга такая была!

– Вот-вот, правильно ты помнишь. Виташа где-то щенка подобрал, принес домой. А где ему жить? Тогда моды и гадости такой не было, чтобы собаки в доме с хозяевами жили, спали на их кроватях и ели из одной миски (какая мер-

зость!), вот Константин Иванович и сколотил для Динго будку. Помнишь, Костя?

– Ну а как же, Верочка, конечно, помню. Мне еще для крышицы кусок рубероида понадобился, я к Баженовым пошел, попросил у Виктора Авдеевича.

– Это отец Георгия?

– Ну да, мы Георгия в мальчиках Геруськой звали... А теперь, конечно, он большой писатель, его весь мир знает, Баженова-то.

– Правда? – рассмеялся Антон Иванович. – А я его когда в Москве вижу, он мне всегда мрачно говорит: «Ни одна собака нас нынче не знает.

Вот дай рубль и книгу в придачу, рубль возьмут – а книгу выкинут!»

– Ну, это он преувеличивает. Конечно, время не то, всё не то, но мы здесь, на Урале, вот у себя в поселке, во всяком случае в нашем доме, мы его постоянно перечитываем. Привет ему от нас горячий передавай!

– Ау, Георгий, – дурашливо закричал Антон Иванович, – передаю тебе привет с родины, ты слышишь?

«Слышишь, слышишь, слышишь...» – откликнулось эхо, и тетя Вера с дядей Костей заулыбались.

– Ну вот, – продолжил дядя Костя рассказ, – взял я у Баженовых немного рубероида, будку сколотил, крышу сделал, все честь по чести... Сколько лет потом служил нам верой и правдой Динго!

– Я помню, лохматый такой, с карими глазами, – вставил Антон Иванович.

– Даже и глаза помнишь, Антоша? – умилилась тетя Вера.

– Помню.

– Давно Динго умер, а будка осталась, – продолжил со вздохом дядя Костя. – Ну, мы ломать ее не стали, стоит себе и стоит. И что ты думаешь, Антоша...

– Ну-ну?

– Когда привез нам Виташа из заморских стран попугая этого, мы хотели его Динго назвать, а сын почему-то не разрешил. Говорит: что было, то прошло, да и не стоит попугая собачьим именем называть. Пусть будет Бинго!

– Я знаю, почему Бинго, – улыбнулся Антон Иванович.

– Почему?

– Да потому, что он там, в Испании, гостиницу себе купил, а она «Бинго» называется.

– Ну да, ну да, что-то такое он нам рассказывал. Но неужели он гостиницу купил?

– Купил, точно. Вот видите, трость? Я ее всегда теперь с собой ношу, мне ее Виталий подарил. Видите, здесь написано: *Hotel BING04* Потому, видно, и попугая Бинго назвал, в честь своей гостиницы.

– Теперь понятно... Но для нас главное – он умный оказался. Как пророк какой-то.

– Пророк? – вновь рассмеялся Антон Иванович.

– Не поверишь, Антоша, – округлила глаза тетя Вера, –

истинный пророк. Целыми днями сидел и твердил: «Я знаю, где золото лежит! Я знаю, где золото лежит!»

– Ну, где золото лежит? Где?! – не выдержал я однажды, – произнес Константин Иванович, и в шутку передразнил его: – Где?!

– И что ты думаешь, Антоша, – зашептала тетя Вера, – он вылетел из клетки и напрямик, напрямик из дома, по двору, вот сюда, к собачьей будке.

– Ну и? – как бы дурачась поинтересовался Антон Иванович.

– Влетел в будку, что-то там шебуршал, возился, сопел старательно, а потом, бац, вытаскивает из будки кусок золота!

– Да вы шутите?! – не поверил Антон Иванович.

– Вот с места нам не сойти! – закричали в два голоса Капитоновы-старшие.

– Да откуда там могло быть золото?

– А мы-то откуда знаем?

– И прямо настоящий кусок золота?

– Именно кусок! И не маленький, не кусочек, а с кулак будет. Самородок!

– Вы меня разыгрываете? – не поверил Антон Иванович.

– Да зачем нам грех-то на душу брать?

– Ну, и где же этот кусок золота?

– Как где? Мы его сдали.

– Куда сдали? Зачем?

– Сдали государству.

– Вот так прямо пошли и сдали государству?

– А что ты нам предлагаешь сделать, Антоша? Ты видишь нас, видишь?

– Ну конечно.

– А если бы мы не сдали, вряд ли бы ты нас увидел.

– Почему это?

– Да потому, что сейчас не то что за кусок золота, за копейку убьют. А так нам вознаграждение выписали. Четыре тысячи рублей плюс путевки в санаторий.

– Четыре тысячи? За самородок?

– Четыре тысячи. Но самое главное, напечатали в «Рабочей правде» (это газета такая местная, если помнишь) наш семейный портрет. С тех пор мы живем совсем спокойно.

– Почему с тех пор?

– Потому что, когда портрет напечатали, все действительно поверили, что золота у нас больше нет. А то могли прийти и прибить нас, как букашек.

Вот эту новость, про золото, Антон Иванович обдумывал позже и так, и этак, и выходило: правы были старики Капитоновы, жили теперь не-тревожно, без угрызений совести, но ведь это что получается... Ведь в городе, например, в Москве, или даже Екатеринбурге, никто ни за что никакое золото никуда бы не сдал, а здесь, в поселке... Или это потому, что они просто люди такие, старики эти, Капитоновы?

Он заглянул к ним в гости, как и обещал Виталию, когда

оказался в родных краях в командировке. И виду, конечно, не подал, как они изменились, постарели, усохли и увяли, хотя внутренне, глазами своими и блеском в них особого капитоновского огонька, они оставались очень красивы (красиво-милы и обаятельны, если по-другому сказать). Но как убог и дряхл был нынче их домик, покосился, накренился, красные, то есть главные, ставни (те, что выходят на улицу) почти вросли в землю, завалинки осыпались, а калитка в палисадник висела на одной петле (Антон Иванович, конечно, калитку подправил, молодец). И даже не в том дело, что домик выглядел убого и жалко или, наоборот, что хозяйева держались-таки молодцами, а в том, что было полное ощущение: они никому не нужны. Ты жив – и ты никому не нужен. А ведь где-то далекодалеко, за заморскими далями, живет родной человек, сын, который ясно что там мается, раз может сдуру-не сдуру, но купить вдруг гостиницу за четыреста тысяч евро, которая и зачем она нужна, эта гостиница? Непонятно. И никто ничего не поймет. Но пусть сын далеко, в испанских краях, но дети-то его в Москве, дочери, то есть внучки Константина Ивановича и Веры Петровны, а вот им-то точно совершенно безразлично, есть у них там, в глуши, на Урале, дед с бабкой или давно они сгнили в земле. И наверняка не самые плохие дочки на свете у Виталия Капитонова. Может, на роялях играют или блистают на теннисных кортах, или еще что-то хорошее умеют, просто нет им никакого дела ни до кого, вот и всё. А почему?

Моралистом становлюсь, брюзгой, – упрекал сам себя Антон Иванович Гудбай. Но потом как-то и это забылось, потому что вспоминалось совсем другое (когда он на кладбище поселковое сходил): что вот у него, у него самого, никого на родине не осталось, и что он здесь делает, к чему наезжает, чего ищет и кого ждет? – не ответишь себе. И родители, и родители родителей, и вся родня его по обеим линиям – все были в земле (так получилось), как-то за последние десять – пятнадцать лет будто мор какой-то навалился на маленький его поселок, у Виташи Капитонова хоть мать с отцом живы, у Георгия Баженова дочь Майя живет с двумя детьми, Андреем и Любочкой, а вот у него – никого нет. И вот многие – не ездят на родину, а он, Антон Иванович, ездит, – зачем, почему, для чего?

И вдруг Антон Иванович вспомнил Капитонов-ского по-пугая, его потешные важные движения, его как бы постоянно подмигивающий тебе глаз, его суматошный и настойчивый крик:

– Я знаю, где золото лежит! Я знаю, где золото лежит!

Вспомнил и, сам не зная почему, рассмеялся. Хорошо рассмеялся, весело, как в детстве; что-то тут такое было забавное и обнадеживающее, если на Руси не только петухи кричат, но еще и попугаи знают, где золото лежит...

Пятый год тянулась их любовь, вошла в какое-то привычное, заунывное русло; заунывное, пожалуй, резко сказано,

просто настолько все обыденно и ясно, что даже скука иной раз одолевала.

Но кого скука одолевала? Скорее всего – Алену.

А Саша ничего, жил себе не тужил, в том смысле, что ближайšie задачи ему были ясны, оставалось только действовать: зарабатывать и зарабатывать деньги, чтобы купить новую машину, желательно иномарку, купить квартиру, купить мебель, а потом и гараж, а потом и дачу можно, пусть хоть какую-то, самую маленькую, а потом... Одним словом, действовать и действовать, а регистрировать там их отношения с Аленой или не регистрировать – это только трата времени, пустая формальность. Главное: они любят друг друга? живут вместе? им хорошо? Что еще надо...

Не заметил Саша, как тоска какая-то начала томить Алену. Собственно, кто хотел квартиру-то? Она. Кто хотел жить отдельно, в собственной квартире, иметь мебель и все остальное? Конечно, она.

Он хотел только одного: шикарную машину. Но... не быть ни женой, ни невестой столько лет – кто хочешь устанет. И все время вот это ожидание: поженимся на следующий год, потом еще через год, потом нужно еще денег подкопить, потом что-то еще... Год за годом, почти пять лет, так все и тянется...

А денег на рынке они немало зарабатывали. Во всяком случае, по меркам обычного москвича, вполне достаточно, чтоб жить-не тужить.



И как-то даже деньги вдруг прискучили Алене. Это ей, которая столько лет пласталась на рынке, которая добывала их в тяжком труде, в недосыпе и в постоянной грязи, вместе с Сашей, конечно, но... Что-то в деньгах есть такое, что отравляет душу, и не потому, что их много или, наоборот, мало, а потому, что они просто-напросто иллюзия жизни, а не сама жизнь!

(Как усмехнутся или возмутятся сейчас те, у кого денег постоянно не хватает!)

Иллюзия жизни...

А что не иллюзия-то? Мы сами все – иллюзия жизни. Так мог бы ответить Саша, если бы его спросили, конечно. Но его никто не спрашивал. Мы сами всё спрашиваем и спрашиваем, и сами же всё отвечаем и отвечаем.

А если нас другие спросят (да еще что-нибудь дельное) – пошлем их всех к чертовой матери. Или ответим так, что толком ничего и сами не поймем.

Иллюзия жизни...

Рядом с квартирой, где они снимали жилье, был некий захолустный клуб, и часто около него (из окна их комнаты хорошо видно) какая-то странноватая молодежь сновала, туда да сюда. Саша комментировал: наркоманы какие-нибудь. Или: шпана подзаборная. Или: бездельники московские.

Может быть, может быть...

Однажды Алена, ради интереса, заглянула туда: что-то ее поразило там. Сказала Саше:

– Пойдем вместе, послушаем.

Он махнул рукой:

– Чего я там не видел! Хочется – ходи, но ты мне толком объясни: что там такое?

– Да не могу я объяснить. Вот я тебя сама спрошу: что такое просветление?

– Чего? Откуда я знаю?

– Вот и я не знаю. Верней, слово такое знаю, а смысла не понимаю.

– Походи-походи, там тебе объяснят, – усмехнулся Саша. – И охота после работы, как дуре, переться туда. Ложись-ка лучше рядом, телевизор посмотрим.

– Ну да, как дед с бабкой, на печи, так мы у телевизора. Тошнит уже.

Ревновал ли он ее? Нет, конечно, потому что столько лет они вместе, породнились больше, чем муж и жена. Муж и жена – у тех штампы, а у Саши с Аленой любовь, ее штамповать не надо, ей не нужны подпорки и подмости. С другой стороны, и приятного мало, что по вечерам он теперь частенько один оставался. Видел только в окно, как Алена входила в клуб, дверь захлопывалась за ней – и всё.

– Танцуете вы там, что ли? – спрашивал Саша. (Он терпеть не мог танцев и тусовок.)

– Нет, не танцуем.

– А что делаете? Лекции слушаете?

– Лекции?.. Ну, бывает... только не лекции, другое.

– Как это? Лекции... другое... Что конкретно-то?

– Конкретно просветляемся.

– Рентгеном, что ли, вас там просвечивают? – не удержался от усмешки Саша.

– Рентгеном? А что, неплохо сказано... У меня в последнее время именно такое ощущение, будто меня всю-всю, насквозь, просветили, а там, представляешь, пустота.

– Это у тебя-то пустота? – Он нежно притянул ее к себе, обнял: – Смотри, какая ты у меня мягкая, теплая, гладкая, какая ты вся ласковая, приятная, смотри, какая у тебя грудь, как у Мэрилин Монро...

– Ну, Саша... ну, что ты...

– Иди, иди ко мне... Вот видишь, дай-ка я поцелую твои пухлые губки, твои плечики, твою вот эту родинку, твою грудь...

– Ну, Саша... не надо... какой ты... ну хорошо... хорошо... целуй... вот так... да, и я... я тоже люблю... люблю, люблю, Сашенька... милый, дорогой...

Они забывались в любви, ласке и истоме, и Саша успокаивался на какое-то время, потому что знал и чувствовал: он любим, он любит Алену, а она любит его. Разве такое можно подделать, разве можно в этом обмануться?

Самая удивительная (для Саши) перемена в Алене была та, что она перестала интересоваться украшениями, побрякушками, кольцами, перстнями с камушками, серьгами... всем тем, что так обожают женщины. Для мужчин очень уто-

мительна и изнурительна эта их любовь, поэтому когда от тебя отстанут со всеми этими бесконечными просьбами: купи это, купи то, а лучше всего и то и другое, то поначалу вздохнешь с облегчением... А насторожишься ли потом? Может быть, но не сразу. Ведь у мужчин такая проблема: «Когда ты насытишься, наконец?!» Вот его извечный вопрос к женщине. И если вдруг покажется, что она действительно насытилась, разве не обрадуешься тут, не вздохнешь облегченно?

Вздыхай, вздыхай, как бы плакать не пришлось...

Чей это голос? Кто это говорит?

Это внутренний голос каждого человека на земле: что бы мы ни делали, все кажется, что придет час расплаты, за хорошее – плохое, за плохое – совсем дурное, ну а если ты порядочный и нормальный человек, тогда, пожалуй, это совсем подозрительно: обязательно придут к тебе за ответом!

И что за жизнь такая у человека?

...Кроме того, в палатке ли Алена стоит (на рынке) или дома сидит (за конспектами), вдруг глаза ее покрываются паутиной, и далеко-далеко уносится Алена в своих мечтах и мыслях... Вот и другая перемена в ней произошла, а именно: из прагматичной и довольно жесткой молодой женщины Алена постепенно превратилась в мечтательную и задумчивую девушку.

Еще одна перемена (которая совсем не нравилась Саше): перестала Алена обращать внимание, чисто ли у них в комнате, прибрано ли, есть ли продукты в холодильнике, сваре-

ны ли щи или готово ли жаркое. Отстраненная от всего стала Алена, чудная, неузнаваемая.

А однажды, вернувшись из клуба, заявила:

– Знаешь, Саша, я уезжаю... Дней через десять, наверное.

– Куда, если не секрет?

– Не секрет, – мечтательно улыбнулась она. – Совсем не секрет. Наоборот. Я уезжаю на Алтай.

– Что-то я не слышал, чтобы у тебя там были родственники или знакомые.

– Точно, родственников нет. Но мы все родные на земле. Впрочем, о чем это я? Просто мы едем на Алтай... Искать одну гору...

– Мы – это твои знакомые по клубу?

– Да. По клубу. Кстати, Саша, – она подошла к нему, заглянула в глаза, – ты тоже можешь поехать с нами. Я тебя приглашаю. Я тебя зову, зову, зову...

– Ты это серьезно?

– Вполне.

– Куда конкретно ты меня приглашаешь? Ты помнишь, мы через неделю получаем груз из Турции, надо товар продавать?

– Через неделю? Ну, Сашенька, товар будет всегда, а на Алтай ехать нужно именно сейчас.

– Почему сейчас? – не понял Саша.

– Сейчас время. Пора. Понимаешь?

– Не понимаю. Ну, и что мы там делать будем?

– Сначала будем искать гору Шамбалу. Но это не главное.

– Шамбалу? Это еще что такое?

– Ты не слышал про Шамбалу? Впрочем, ты прав. Шамбала – она везде, она и на Алтае, и в Гималаях, и даже у нас здесь, в Подмосковье, может оказаться. Шамбала – это гора, конечно, но это тайна, которая скорей всего находится внутри нас самих.

– Ты не бредишь, Аленка?

– Я знаю, это странно для тебя звучит. Но ты пойми, я люблю тебя, я хочу, чтобы мы поехали вместе, я приглашаю тебя!

– Ну, если отдохнуть немного... можно, конечно.

– Не отдохнуть, Саша. Наоборот – потрудиться.

– Здесь вкалывай, там трудись, где и когда отдыхать тогда?

– Там труд – это совсем другое. Это не наше вкалыванье. Тот труд – это поиски самого себя.

– Да ладно трепаться. Мы давно нашли друг друга. Что еще надо-то?

– Саша, пойми: я серьезно с тобой говорю. Мы любим друг друга, это правда, мы любим друг друга давно, столько лет, но мы должны по-настоящему найти друг друга!

– И там, на этой горе Шамбале, там и найдем, конечно, друг друга? – усмехнулся Саша.

– Не обязательно. Но может быть... Дело не в самой горе. Дело в пещере, которую мы будем искать. На горе Шамбале есть сокровенная пещера Бинго, в этой пещере горит огонь

откровения. Там, именно там, мы можем найти свое просветление. Мы освободимся от страданий, потому что главный источник страданий – наши желания. Если нам повезет, если мы будем достойны того, мы освободимся от желаний, найдя в этой пещере огонь откровения, который опалит нас и исцелит нас от главного зла в мире: ненасытности желаний!

– Ты свихнулась, Аленка.

– Нет, Саша, я говорю серьезно.

– Да не собираюсь я освобождаться от желаний. Вся наша жизнь – сплошное желание.

– Вот именно, Саша. Но желание это ненасытно, а потому бездонно и недостижимо.

– Да, доходилась ты в этот клуб... Чувствовал я: добром это не кончится.

– Это не только добро, это суть, истина, откровение и сокровище просветления.

– Может, тебя в психушку отвезти?

– Саша, я серьезно: через неделю я уезжаю на Алтай. Я люблю тебя и поэтому зову с собой. Я люблю тебя!

– А если я скажу: нет?

– Никто никогда не говорит по-настоящему этого сакраментального слова «нет». Это только кажется нам. Вот поэтому и нужно нам просветление...

– Нет, точно, ты сбрендила.

– Не говори так, Саша. Я уезжаю – и ты должен решить: вместе мы или порознь?!

...В замешательстве и недоумении поехал Саша в один из вечеров домой, к матери и отцу. Антона Ивановича, как обычно, дома не было (в командировке на Урале), а мать, Марина Михайловна, так обрадовалась Саше, так обрадовалась, что он даже растерялся:

– Ма, ты чего? Случилось что-нибудь?

– Нет, ничего, слава Богу, ничего. – Она обнимала и целовала Сашу в лоб, прижималась к нему, вдыхала в себя его родной, такой тонкий и почти забытый сыновний запах: – Просто я соскучилась! Вы совсем забыли нас с отцом, и ты, и Юрочка, ни одни не приезжаете, ни невест своих не показываете... Как я соскучилась, как я исстрадалась, Сашенька!

– Ну-ну, мама, что ты...

Они сидели на кухне, пили чай с клубничным вареньем, и глаза матери счастливо светились, когда она смотрела, как младший ее сын, ложечкой, как в детстве, ест и ест варенье из розетки (так и съест все варенье, а о чае не вспомнит). Она вновь кладет ему варенье и с улыбкой напоминает:

– А чай, Сашенька, а чай забыл? Ведь остывает.

– Да чаю я у себя напьюсь, а вот варенья такого, твоего, домашнего, когда еще поем?

– Вот и приезжал бы к нам почаще, вместе с Аленой. Как вы хоть живете, расскажи!

И Саша, воспользовавшись моментом, начал рассказывать матери свою историю; глаза у Марины Михайловны вначале округлились, а потом она сказала как отрезала:



– Так я и знала. Говорила я тебе, говорила: женитесь!

– Да при чем здесь это, мама?

– А при том, что были бы вы женаты, не бесились бы с жиру. Ишь, горы им какие-то подавай, пещеры, просветление... Детей надо было заводить, сколько раз просила тебя! Свадьбу надо было играть!

– Ну да, и живи потом в нищете.

– В какой нищете, в какой нищете, что ты выдумываешь?

– Да мы хотели, как люди, сначала денег поднакопить, на ноги встать, а потом...

– Ну да, пять лет деньги копили, на ноги вставляли – и где они, ваши деньги? Жизнь так устроена, сынок, сколько денег ни копи – их никогда не будет. А сама-то жизнь проходит, чувства угасают, желания притупляются... Знал бы ты, как я мечтала, чтоб у вас ребеночек появился, девочка, внучка! Я бы нянчилась с ней, пестовала ее, она такая крохотная, маленькая, хорошая... Господи!

– Вот Аленка тоже об этом раньше говорила. А теперь перестала...

– Еще бы не перестать! Мужики так устроены: им когда много про детей говорят, они пугаются, капкан им все мерещится, каторга какая-то, прям хомут на шее.

Саша тут рассмеялся – весело, легко так, как в детстве, колокольчиком:

– А ты откуда знаешь, мам? Ведь точно – боимся мы.

– Еще бы не знать, жизнь прожила. Вот женщины и берут

такую тактику: живут с вами, с олухами, как ни в чем не бывало, а в душе-то только и ждут, когда свадьба будет?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.